НАКОВАЛЬНЯ ИЛИ МОЛОТ

SHOUT
SHARE
IT

- Наковальня или молот
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ПЕРВЫЕ СПОЛОХИ
  - ЦЕНЗУРА
  - С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ НА ЛЮЛИН
  - ЗАЩИТНИК НАРОДА
  - КАФЕ «ВАРВАРА»
  - В ИСКЫРСКОМ УЩЕЛЬЕ
  - РАДИ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА
  - В ДЫМНОМ ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ
  - ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА
  - БЕРЕГИТЕ ДИМИТРОВА!
  - НЕУСТРАШИМЫЙ
  - ТАК НАЧАЛОСЬ ВОССТАНИЕ
  - ПОП АНДРЕЙ
  - НА ЧУЖБИНЕ
  - ЗАКОВАННЫЙ ДИМИТРОВ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

Ангел Каралийчев
НАКОВАЛЬНЯ ИЛИ МОЛОТ
СОФИЯ-ПРЕСС

ПРЕДИСЛОВИЕ

С волнением предлагаю вниманию читателей этот небольшой сборник рассказов о Георгии Димитрове — учителе и вожде болгарского народа, выдающемся человеке, поборнике правды и мира, стальном воине международного рабочего движения, который в дни Лейпцигского процесса совершил исторический подвиг.

Содержание этого сборника составляют эпизоды из его необыкновенной жизни. Моя книга не является биографией. Я не ставил перед собой цели даже в общих чертах обрисовать облик этого великого революционера. Я лишь попытался средствами художественного произведения отразить некоторые замечательные стороны его характера — безграничную преданность рабочему классу, острый и пламенный ум, коммунистическое бесстрашие, неукротимую энергию борца, благодаря которым молодой наборщик стал вождем революции, завоевал мировую славу, любовь родного народа и бессмертие.

Источником для сборника рассказов «Наковальня или молот» послужили многочисленные книги о Георгии Димитрове, вышедшие в Болгарии и за границей, воспоминания его соратников и современников, доклады, речи, путевые заметки, стенограммы, официальные документы, связанные с его жизнью.

На одной из встреч в Москве советские писатели сказали нам:

— Мы ждем от болгарских писателей книгу о Георгии Димитрове.

Для наших писателей создание такой книги — патриотический долг и дело чести. Автор «Наковальни или молота» убежден, что недалек тот день, когда появится книга, достойная великого сына болгарского народа, написанная вдохновенно, книга, которую захотят прочитать сотни тысяч людей во всех уголках земного шара.

А. Каралийчев
Март, 1958 г.

ПЕРВЫЕ СПОЛОХИ

Под сенью мудрости достойнейшего Деда
Взращен ты стойким, как могучий дуб,
Он прирожденный вождь, за ним идешь ты следом;
Он взял умом, ты пламенностью люб!

Д. И. Поляков

Рослый бессараб Гаврил Георгиев положил ручку на чернильницу, потер рукой высокий выпуклый лоб, пригладил волосы и взглянул через открытое окно на улицу. Снаружи беспорядочно шумел базар. С грохотом катились по мостовой телеги, громко переговаривались крестьяне, съехавшиеся из ближних сел, какой-то старик монотонно выкрикивал:

— Кому салепа? Вкусный салеп![1]

Гаврил Георгиев улыбнулся, взглянул на товарища, который сосредоточенно писал что-то, и окликнул его:

— Мастер!

— Что? — отозвался Георгий Кирков, редактор «Рабочей газеты», и прищурил живые, со смешинкой глаза.

— Ну как, продвигается «хвалебный отзыв»?

— Готов! Длинновато получилось, зато Янко места себе не найдет, когда прочтет.

— А я услышал нудный голос продавца салепа и вспомнил об этом, как его, Петре Бакалове, который все в хвосте у реформистов плетется. Что ты ему такое давеча сказал? Он выскочил из редакции красный, как рак.

— Я-то? — Кирков снял очки и старательно протер их носовым платком. — Целый час я терпеливо слушал, как он порол чушь. Он, видишь ли, считает, что мы должны расширить классовое сотрудничество и покончить с классовой борьбой. Наконец я не выдержал и оборвал его. «Послушай, Петр, ум не настолько глуп, чтобы избрать своей резиденцией твою голову». «А ты меня опять клюнул, Мастер», — сказал он и выскочил за двери. «Нет, — крикнул я ему вслед, — я разборчивый, что попало, не клюю»…

И Георгий Кирков громко рассмеялся. Его пышные усы и остренькая бородка задрожали от смеха.

— Здорово ты поддел его!

За дверью послышались размеренные, неторопливые шаги, деревянные ступени шаткой лестницы заскрипели. Георгий Кирков прислушался.

— Дед идет. Ты заметил, как он ходит со своей тростью? — спросил Кирков.

— Как?

— Идет, размахивая ею, будто отгоняет верных псов Янко Сакызова, которые лают на него в хор с подпевалами Такева.

Кто-то снаружи уверенно нажал на ручку. Дверь отворилась, и в комнату Центрального Комитета вошел руководитель партии Димитр Благоев.

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравствуй, Дед! — вскочили со своих мест оба сотрудника редакции.

— Успел подготовиться к выступлению в Народном собрании? — спросил Кирков.

Благоев поставил палку в угол возле своего письменного стола, повесил широкополую шляпу на деревянную вешалку, сел, закинув ногу на ногу:

— Еще нет, но собираюсь задать им всем хорошую трепку. Как это ты выразился, Георгий? Нельзя волкам и овцам быть вместе в одной овчарне, не бывает, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Мы боремся против всех буржуазных политических группировок, которые грызутся между собой из-за одного — кому драть шкуру с болгарского народа. Ты очень метко это сказал, Георгий. Тебе бы роман написать, сатирический. По-моему, никто не умеет так высмеивать и бичевать, как ты. А свою речь я вот как себе представляю. Послушайте и скажите, получается или нет. Либералам я прежде всего припомню 1900 год — последний год прошлого столетия. Помните, что они натворили в Дуран-кулаке и Шабле? Два кавалерийских эскадрона, посланные правительством, зарубили четыреста душ крестьян. Уже тогда болгарские крестьяне поняли, на что способны сынки бывших помещиков да холуев турецких беев, и пошли за нашей революционной социалистической партией. Еще я напомню им о студенческой демонстрации в 1907 году в день открытия Народного театра. Какого числа студенты освистали Фердинанда?

— Третьего января. Я был там, — ответил Гаврил Георгиев. — Кобург выехал из дворца в коляске, запряженной белыми лошадьми. Он важно посматривал по сторонам, ожидая, что народ онемеет от радости, завидев его выезд. Но студенты, перегородив дорогу, остановили лошадей и освистали

Фердинанда.

— Все так и было, — кивнул Благоев, приглаживая рукой длинную бороду с проседью, — именно так. После этого случая Фердинанд уволил министра просвещения Шишманова и всех профессоров, приказал закрыть университет и выгнать студентов из Софии. В ответ железнодорожники объявили забастовку, перестали ходить поезда, и все поняли, что с солидарностью рабочих шутки плохи… Да, а затем я поговорю о «подвигах» демократов. И скажу пару слов о нынешнем министре внутренних дел.

— Обязательно! Не успел дорваться до жандармской шашки, как сразу же разогнал общинные советы, — заметил Гаврил Георгиев.

— А на собраниях врал, как сивый мерин. Ты, Дед, не забудь сказать о гнусной роли, которую этот Такев сыграл в Русе. Он вмешался в любовную историю болгарина и молоденькой турчанки, послал в дом, где справляли свадьбу, отделение солдат, и по его милости там было убито 23 невинных человека, — напомнил Кирков.

— Да, о Такеве много чего можно сказать. Он опасный противник, но вот тут, — и Благоев похлопал по портфелю, — собрано достаточно фактов и документов о его преступных делах. Вчера, обдумывая, какой должна быть теоретическая платформа моей речи, я пришел к выводу, что начать нужно с русской революции 1905 года. Она послужила сигналом. В этом году миллионы людей во всем мире начали наступление против капитализма. Борьба между трудом и капиталом обостряется. Только нашим рабочим надо понять, что свободу они завоюют своими руками. Ты согласен, Георгий?

— Согласен, Дед! Но пловдивский писаришка, министр Крыстев, думает иначе.

— Как же он думает?

— Позавчера в Народном собрании он заявил, что мы, социал-демократы, обманываем народ.

— Каким образом?

— Утверждаем, что в Болгарии существует рабочий класс.

— Ну и ну! Позавчера я не был в Народном собрании и ничего об этом не знаю.

— Вот, читай…

Благоев взял «Рабочую газету», орган социал-демократической партии, быстро просмотрел несколько абзацев, указанных Кирковым, и нахмурился.

— Мы не можем пройти мимо этого выступления, нужно достойно ответить на него.

— Я тут уже подготовил «хвалебный отзыв» для субботнего номера «Рабочей газеты», — ответил Кирков.

— Этого мало. Надо продемонстрировать перед буржуазией, столицей, всем болгарским народом нашу силу.

— Как?

— Мы должны… — Благоев повернулся к открытому окну и сжал кулаки, точно собирался обрушить их на голову невидимого противника. — Мы должны вывести рабочих на улицу. Они откликнутся на призыв партии, как делали это в дни больших забастовок. Да если мы бросим клич, наши рабочие выйдут на улицу. А вы как считаете, товарищи?

— Надо поговорить с секретарем Общерабочего синдикального союза, — предложил Кирков.

— Где он?

— На «голубятне». Работает парень. Погодите, я его сейчас позову.

Кирков вышел из комнаты и быстрыми шагами направился к застекленной веранде, где досками была отгорожена комнатка, или «голубятня», как шутливо называли ее деятели партии. Кирков заглянул в клетушку: Димитров что-то читал, подперев голову обеими руками и запустив пальцы в черные кудрявые волосы. Кирков похлопал его по плечу:

— Ты чем так увлекся, Георгий?

— Перечитываю «Коммунистический манифест».

— Оставь пока книгу. Пойдем обсудим одно важное дело с Благоевым.

Новый секретарь Общерабочего синдикального союза порывисто встал. Ему было немногим больше двадцати. Над верхней губой пробивался нежный пушок. Глаза горели жарко, будто раскаленные угли. Плотно сжатые губы говорили о том, что у юноши волевой характер. Высокий, туго накрахмаленный воротничок плотно охватывал гибкую шею. В длинных и тонких пальцах он беспокойно вертел карандаш, которым подчеркивал наиболее понравившиеся ему места из «Манифеста».

Когда молодой человек вошел в комнату, Димитр Благоев окинул его взглядом и улыбнулся. Ему нравился этот юноша, в котором чувствовался человек богатой и пламенной души.

— Послушай, Георгий, нам нужно решить очень важный вопрос. Надо организовать демонстрацию софийских рабочих. Партия хочет доказать, что в Болгарии существует сильный рабочий класс. Вот ты, секретарь Синдикального союза, как считаешь, отзовутся рабочие на наш призыв? — спросил Благоев.

— Все до одного, — зазвенел голос Димитрова.

— Правильно, Георгий. А вот министр Крыстев позавчера

заявил с трибуны Народного собрания, что в Болгарии нет рабочего класса. И что классовая борьба — это плод фантазии тесняков. В демонстрации должны участвовать минимум две-три тысячи рабочих, чтобы запрудить всю площадь перед Народным собранием.

— Больше соберем! — уверенно заявил Георгий Димитров.

— С каких предприятий?

— С каких? А вот считайте, — и Георгий Димитров, загибая пальцы, начал перечислять: из железнодорожного депо — раз, из арсенала — два, из литейной — три, из княжевских фабрик — спиртовой и бумажной — четыре, да еще всех наборщиков на ноги поднимем. В одном арсенале тысяча человек наберется.

— Неплохо. А теперь, товарищи, давайте решать, на какой день назначить демонстрацию, — обратился Благоев к Киркову и Георгиеву.

— Лучше всего на среду, на пять часов. Депутаты как раз будут в Народном собрании, — предложил Кирков.

— На среду? Пожалуй, подходит. Георгий, сообщи об этом местному синдикальному совету и городской партийной организации. Передай им, что Центральный Комитет призывает всех рабочих собраться в среду на площади Свети Крал. Оттуда и двинемся.

— Разве только софийские рабочие будут участвовать в демонстрации? Если разрешите, я съезжу в Перник…

— Зачем?

— Из Перника приедут шахтеры — две тысячи!

— Да это же чудесно! — воскликнул Кирков. — Если приедут шахтеры, то площадь Царя-Освободителя увидит такую мощную демонстрацию, какой еще не бывало.

— Раз так, поезжай в Перник. Местную партийную организацию предупреди, чтобы шахтеры садились на дневной поезд.

Молодой Димитров быстро вышел из комнаты.

В среду рабочие фабрик и мастерских, не дожидаясь окончания смены, покинули предприятия. Замолкли станки, остановились приводные ремни, стих грохот типографских машин. Мощная людская река потекла со стороны, вокзала и железнодорожного депо по улице Марии-Луизы к почерневшей от старости церкви, возвышающейся на центральной площади столицы. Перникские шахтеры шли с кирками и лопатами и пели песню Киркова:

Песню нашу грянем смело,
Песню, славящую Труд,

На душе чтоб просветлело,
Слава, слава тебе, Труд!

Из сапожных, портняжных и слесарных мастерских, из многочисленных пивных выскакивали подмастерья, ученики ремесленников, слуги и присоединялись к колонне шахтеров. Зажиточные бакалейщики и ювелиры, сидя перед своими лавками, перебирали четки и с испугом взирали на этих потемневших от угольной пыли людей, вышедших из подземных галерей перникских шахт.

Когда просторная площадь Свети Крал почернела от рабочих, с высокого церковного подъезда призывно зазвучал голос секретаря Синдикального союза — организатора рабочих забастовок. Размахивая тростью, он выкрикивал:

— Товарищи рабочие, стройтесь в колонны! Все к Народному собранию!

Шумные шеренги демонстрантов устремились по проспекту Дондукова и затем по Торговой улице. Над площадью перед царским дворцом загремела мощная песня о труде. Никогда по бульвару Царя-Освободителя не текла такая нескончаемая река рабочих. Игроки в кости, разинув рот, смотрели из окон кофеен на демонстрантов. В домах аристократов из-за тяжелых дорогих портьер испуганно выглядывали женщины. Куда идут эти люди? Что им нужно? Почему они поют и беспокоят всех своими песнями? Если так будет продолжаться весь вечер, нельзя будет погулять, как обычно, у царского дворца…

В первых рядах колонны шагали члены Центрального Комитета. Георгий Димитров вел шахтеров. Они хорошо знали Димитрова и верили ему. Толпы рабочих заполнили всю площадь перед Народным собранием. Все напряженно смотрели в сторону парадного входа в парламент. Над головами собравшихся высился большой памятник. Свобода с мечом в руке вела за собой восставший народ, конных казаков, ополченцев, революционных эмигрантов из дымных кабачков Браилы и Бухареста, женщин, детей и стариков, окрыленных верой в светлое будущее. Кое-кто из шахтеров вскарабкался на мраморный пьедестал памятника, а один уцепился за ноги бронзового коня.

Георгий Кирков взглядом отыскал в толпе взволнованного и торжествующего секретаря Синдикального союза, стоявшего на ограде памятника, и сказал Благоеву:

— Раз этот юноша по приказу партии сумел привести сюда тысячи рабочих, он далеко пойдет.

Сняв соломенную шляпу, он передал ее кому-то из стоявших

рядом рабочих и попросил:

— Ну-ка, помогите мне забраться повыше!

— Зачем, товарищ Кирков?

— Хочу сказать пару слов тем, кто заседает в Народном собрании.

Сильные руки подхватили его, подняли вверх. Кирков встал на постамент перед горельефом Свободы и громко крикнул:

— Господин министр Крыстев, господа буржуазные депутаты! Посмотрите и убедитесь сами, есть в Болгарии рабочий класс или нет!

Из парадного подъезда показалось человек десять депутатов правительственной партии. Они отказывались верить своим глазам.

— Собака, не умеющая лаять, наводит на свое стадо волка. Я говорю о Крыстеве, — сказал один из депутатов и, махнув рукой, вошел в здание.

Рабочую делегацию, состоявшую из восьми человек, принял Александр Малинов.

— Господин Благоев, зачем вы собрали эту толпу у Народного собрания? — спросил он дрожащим голосом. — Почему вы мешаете нам работать? Что вам нужно?

— Мы требуем восьмичасового рабочего дня. Требуем, чтобы женский и детский труд охранялся законом! — ответил за всех секретарь Синдикального союза, пристально глядя в глаза обрюзгшего премьер-министра.

— Требуете?.. Господа, но ведь это бунт!

— Это только первые сполохи, господин премьер-министр! — воскликнул Георгий Димитров, делая шаг вперед.

— Кто этот молодой человек? — обратился Малинов к Димитру Благоеву.

— Секретарь Общерабочего синдикального союза.

— Как его зовут?

— Георгий Димитров.

Малинов задумчиво покачал головой.

— Господа, правительство и Народное собрание обсудят вопрос о восьмичасовом рабочем дне, но мы не разрешим толпе вмешиваться в наши дела.

— Перед вами, господин премьер-министр, представители болгарского рабочего класса, и вы обязаны ответить им, — делая ударение на слове «обязаны», произнес Благоев.

— Я уже ответил, — сказал Малинов. — Вы свободны, господа рабочие делегаты!

Делегаты покинули роскошный кабинет с твердым решением продолжать борьбу. Они читали «Манифест Коммунистической

партии» и знали, что ни один господствующий класс еще не сходил добровольно со сцены. Его нужно было свергнуть силой.

ЦЕНЗУРА

Познавшему страдания отцов и дедов,
Что проливали кровь за торжество идей,
Ему самой судьбой обещано изведать
Потомков радости, дожив до светлых дней.

Христо Радевский

Во дворе типографии «Либеральный клуб» валялось толстое бревно. Наборщики любили посидеть на нем во время обеденного перерыва, подышать чистым воздухом. В типографии было душно, накурено и мрачно. Плоскопечатную машину пускали в ход вечером, после того, как метранпаж сверстает четыре полосы газеты «Народные права» и выправит ошибки. Когда машина работала, стекла в окнах дребезжали, пол подрагивал, а с потрескавшегося потолка на головы рабочих сыпалась штукатурка.

Было раннее утро. Только что проснувшийся город купался в чистом весеннем воздухе. Стоян Кечеджиев, молодой рабочий, всегда приходивший в типографию первым, сидел верхом на бревне и дул в новенькую флейту, неумело перебирая пальцами и тщетно пытаясь подобрать мелодию народного танца.

— Здравствуй, браток, — услышал он голос Георгия. Димитров быстрыми шагами пересек двор и похлопал любителя музыки по плечу. — Ну, как дела?

— Как сажа бела… Разделили опорки босого.

— И что же тебе досталось?

— Досталась свинья, что летом сбежала со двора… Сперва мы напились, а как начался дележ, передрались. Соседи еле разняли. Да что там говорить! Лучше расскажи, что у вас вчера было.

— Вчерашний денек удался на славу, Стоянчо, — улыбнулся Георгий. — Все еще не могу прийти в себя от радости. Всю ночь глаз не сомкнул. Ведь мы впервые так праздновали Первое мая. Какой это был праздник! Все почувствовали силу рабочих.

— Молодцы! — воскликнул Стоянчо. — А собрание где провели?

— В зале гостиницы «Свобода». Потом все вышли на улицу. Музыка гремит. У всех красные банты на груди. Впереди шел

Антон Иванов, ты его знаешь. Вот это человек! Подпоясался кожаным ремнем, под мышкой петлю прикрепил и просунул в нее древко знамени. Идет гордо так, торжественно.

— Какое знамя он нес?

— Алое, общества «Братство».

— А-а, знаю, знаю!

— Ну вот, идем мы, поем песни. Весь Ючбунар[2] вышел посмотреть на нас. Когда мы подошли к рыночной площади, со стороны улицы Дебр показалась конная полиция. Впереди — старшой с тремя нашивками на погонах. Я тут же пробрался вперед и встал справа от знаменосца. В это время подъехали полицейские. Старшой решил напугать нас — натянул поводья, и лошадь его взвилась на дыбы. Но Антон Иванов остановился, расставил ноги, и ни с места. Колонна тоже остановилась. «Разойдись!» — заорал старшой и повернул лошадь влево. Та с грохотом опустила копыта на тротуар так, что посыпались искры. Антон Иванов вскипел — знаешь его, он ведь старый бунтарь, его за русенский бунт к смертной казни приговаривали, — схватил знамя обеими руками, направил его, точно пику, на старшого и говорит: «Дай людям пройти, или я проткну тебе брюхо!»

Старшой позеленел от злости, схватился за ножны да как гаркнет: «Сабли наголо!» Полицейские выхватили сабли. Тут наши не выдержали. От их угрожающего «у-у-у» задрожали стены домов. Кто-то крикнул: «Чего стоите? Гоните их!» А справа стояла полуразрушенная кирпичная ограда. В одно мгновение сотни рук протянулись к ней и стали выламывать кирпичи. На головы полицейских обрушился град кирпичей. Ограды как не бывало. Первым удрал старшой, за ним припустились остальные. Пока они съездили за подкреплением и вернулись, мы успели провести митинг и разойтись. Вчера мы победили! Я этого Первомая не забуду!

Ударил колокол, возвещая начало рабочего дня. Наборщики, надевая на ходу рабочие халаты, один за другим занимали свои места. Метранпаж раздал рукописи.

— Держи! — и он протянул Стояну две-три странички хроники. — А тебе, — повернулся он к Георгию, — даю передовую. До обеда все должно быть готово. Тут немного, страниц семнадцать.

Молодой наборщик взял рукопись, прочел заголовок: «Антигосударственная демонстрация» и нахмурился. Меж бровей легла складка.

— Кто написал? — полюбопытствовал Стоян.

Вместо ответа Георгий провел рукой дугу под подбородком, намекая на бороду.

— Шеф! Да, я тебе не завидую, — прошептал Стоян и склонился над наборной кассой.

Тонкие пальцы Георгия запорхали над кассой. С необыкновенной быстротой выхватывал он литеру за литерой и выстраивал их в верстатке. Он был одним из лучших наборщиков, работал без ошибок и умел разбирать самые запутанные тексты, самые неразборчивые почерки. Раньше все передовицы газеты «Народные права», написанные главным редактором Василом Радославовым — а буквы у него были не яснее иероглифов, набирал дед Вуте, старый и очень грамотный рабочий. Но он заболел и надолго слег. Тогда метранпаж остановил свой выбор на Георгии и не ошибся: молодой наборщик отлично справился с порученным делом.

— А ты башковитый парень, Георгий, — похвалил его метранпаж, похлопав по плечу.

С тех пор Георгий часто набирал передовые.

На этот раз он сначала не особенно вникал в содержание рукописи. Перед глазами еще стояли колонны демонстрантов с алыми лентами на груди, высокий статный знаменосец, полицейские с саблями наголо. Первые страницы состояли из затасканных рассуждений о порядке, о законности, о смутьянах. Вдруг он обратил внимание на слова: «…Вчера огромная толпа бродяг, пьяниц и грабителей залила городские окраины». Он перестал набирать и с тревогой просмотрел всю статью. А дойдя до последних строк, весь задрожал от гнева. Вот что в них было написано:

> «Если мы не хотим, чтобы банда социалистов разрослась так, как в других странах, необходимо решительно расправиться с этим сбродом, который забрасывает камнями защитников государства».

Сжав в руке статью, Георгий быстро прошел между наборных касс и с возмущением бросил ее метранпажу.

— Эту статью я набирать не буду!

— Почему?

— Потому что статья Радославова — клевета!

— Георгий, думай о чем говоришь! Газета готова, ждем только передовую.

— Я ее набирать не буду!

— Ты понимаешь, чем это тебе грозит?

— Понимаю.

Метранпаж развел руками и отправился к главному редактору.

Бородатый лидер партии либералов прибежал вне себя от

ярости и начал орать:

— Кто это не желает набирать мою статью? Дайте-ка мне на него посмотреть! Ах, это ты! Что это значит? За что я тебе деньги плачу? Не твое дело критиковать написанное. Наборщик обязан набирать все, что ему дают!

Димитров подошел к нему:

— Господин Радославов, обязанности наборщика мне хорошо известны. До сих пор я набирал все, хотя не раз возмущался написанным. Но эту статью набирать не буду. Если можете найти наборщика, который одолеет ее, — пожалуйста. Только вряд ли найдете.

— Я тебя уволю! — взорвался главный редактор.

— Дело ваше, — ответил Димитров, засовывая руки в карманы.

Радославов, хлопнув дверью, скрылся в своем кабинете.

— Прошу тебя, Георгий, не упрямься! — жалобно заныл метранпаж. — Докончи статью, а спорить будем потом.

— Ни за что! — резко ответил молодой наборщик.

Тогда метранпаж передал рукопись другому рабочему, но тот запнулся на первом же предложении. Метранпаж вырвал у него рукопись и долго кряхтел над нею, но тоже не смог ничего разобрать и понуро поплелся к главному редактору.

Прошло часа три. Время близилось к обеду.

Вдруг дверь кабинета главного редактора распахнулась, и Радославов начал шарить глазами по цеху, разыскивая Георгия. Молодой наборщик, стоя перед кассой, раскладывал по местам литеры рассыпанного набора.

— Эй, ты, упрямец! — крикнул Радославов. — Зайди-ка ко мне в кабинет!

В кабинете редактор сказал ему примирительным тоном:

— Что же, в сущности, тебе не нравится в моей статье, черт побери? Со мной такое впервые случается…

Георгий ответил с достоинством:

— Мы не сброд, не грабители и не бандиты! Все эти ругательства сказаны по нашему адресу незаслуженно. Мы — рабочие!

— Да, — наставительно поднял указательный палец Радославов, — допустим, ты действительно честный парень, но можешь ли поручиться за то, что другие такие же порядочные, как ты? Нет, другие совсем не такие…

— Все рабочие — честные люди, особенно те, которые были вчера на демонстрации. И ни один сознательный наборщик не согласится набирать такой текст.

— Ладно, — вздохнул шеф, — кое-что вычеркнем. — И, взяв

ручку, вымарал несколько строк. — А теперь ступай, набирай поскорей!

Георгий взял рукопись и улыбнулся.

— Ну как, уступил? — спросил его Стоян.

— Еще бы не уступить… Все уступают, когда поймут, что им некуда деваться, — ответил Георгий.

*

Прошло семнадцать лет. Молодой наборщик возмужал, стал руководителем рабочего движения. Жизнь Георгия Димитрова протекала среди народных волнений и бурных забастовок. Трудовой люд юго-восточной части страны избрал его своим представителем в Народное собрание. За это время борода лидера либералов выросла до пояса. Он стал премьер-министром, правой рукой Кобурга, по вине которого народ пережил вторую национальную катастрофу, оставив на полях сражений Фракии и Македонии больше ста тысяч своих сынов. Чтобы заставить замолчать вождей партии тесняков, которые гневно протестовали против гибельной войны и отказывались голосовать за военные кредиты, Радославов ввел еще более строгую цензуру печати. «Рабочая газета» вся пестрела белыми квадратами.

Однажды на трибуну Народного собрания поднялся Георгий Димитров. Радославов расположился в середине стола, за которым сидели министры. Как только Димитров заговорил о чудовищном давлении на общественное мнение, о драконовской цензуре, премьер-министр вдруг что-то вспомнил, вскочил с места и закричал:

— И ты, Димитров, ты смеешь выступать против цензуры? Лучше вспомни, как ты подвергнул цензуре мою собственную статью, когда работал у меня наборщиком!

— Я помню это, — ответил Димитров, повернувшись к столу, — я тогда, как и сейчас, защищал интересы рабочего класса. А вы подавляли свободу слова трудящихся, как делаете это и сейчас. Сегодня вы используете цензуру, чтобы угнетать рабочих, а раньше использовали свою газету, чтобы обливать их грязью, клеветать на них. Против этого я боролся тогда, борюсь и сейчас!

По залу прошло оживление. Левые бурно зааплодировали. Бородатый премьер безнадежно махнул рукой и сел на свое место.

С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ НА ЛЮЛИН

«Рабочий класс рос день за днем,
а вместе с ним мужал и он».

Божидар Божилов

В ясное майское утро потоки солнечного света заливали Княжевское шоссе, склоны Витоши, зеленые поля Бояны, сады Овча-Купели. Было воскресенье, и по безлюдной дороге лишь изредка проезжали, тарахтя колесами, двуколки, груженные молочными бидонами. Вздувшаяся после ночного ливня Владайская река стремительно неслась с гор на равнину, грозя затопить огороды, малинники, вишневые рощицы. На деревянном мосту, перекинутом через реку, остановились двое юношей, разрумянившихся от быстрой ходьбы. Перегнувшись через перила моста, они глядели вниз, на мутную клокотавшую воду.

— Ну и дождичек был ночью, — сказал один.

— Да, — согласился другой. — Я сквозь сон услышал раскаты грома и вскочил. Гроза всегда будоражит меня. Спать больше не хотелось, я зажег лампу, взял книгу и долго читал. А когда задул лампу, на дворе было светло: взошел месяц.

— Я тебя, наверно, рано разбудил?

— Нисколько. Признаться, вставать не хотелось. Зато утро какое чудесное! А ведь я, пожалуй, Люлин почти не знаю. Мне только на Витоше приходилось бывать, у Золотых Мостов.

— А я и туда не хожу. Не люблю лазить по горам. У нас, во Фракии, совсем не так, как здесь. Она вся ровная из конца в конец. Идешь, идешь, а вокруг одни только поля и виноградники, да кое-где курганы торчат. А если бы ты видел Марицу во время половодья! Ну чистое море! — И, помолчав, юноша добавил: — Здесь будем ждать наших или пойдем прямо к монастырю?

— Лучше там подождем, Петко, — ответил его спутник. — По дороге поговорим, помечтаем. — Он снял шляпу и, запрокинув голову, устремил взор на покрытые снегом, ослепительно сверкающие вершины Витоши. Утренний ветерок шевелил его темные кудрявые волосы, приятно ласкал разгоряченное смуглое лицо. Расстегнув ворот рубашки, он с наслаждением вдохнул чистый прохладный воздух.

Друзья зашагали по неровной дороге туда, где виднелись замшелые крыши деревенских домов. На траве, на цветущих ветвях яблонь еще блестели капли дождя. Навстречу им попалось стадо ягнят. Они жалобно блеяли, будто понимая, что их гонят на

бойню. От этих звуков сжималось сердце. Друзья посторонились, давая дорогу стаду, потом зашагали дальше.

— Так что же ты читал ночью? — спросил один из них.

— «Что делать?»

— Ты обещал мне дать эту книгу, не забудь.

— Знаешь, читаю и не могу оторваться. Чернышевский — гений! Представляешь, как много мы потеряли бы, если бы роман исчез!

— Как это исчез?

— Ты разве не знаешь, что рукопись была потеряна?

— А кто ее потерял?

— Сейчас расскажу. Это произошло в 1863 году. Чернышевский, находясь в заключении в Петропавловской крепости, написал там роман. Окончив первые главы, он послал их Некрасову, редактору журнала «Современник». Некрасов сам повез рукопись в типографию, но по дороге потерял ее. На следующий день в газете «Ведомости Санкт-Петербургской полиции» появилось объявление: кто найдет и принесет рукопись, тот получит 50 рублей. К счастью, рукопись нашел на Литейной один бедный чиновник и вернул ее Некрасову. Так уцелела эта бесценная книга. Если бы ее нашел какой-нибудь неграмотный человек и пустил на растопку, Рахметов бы сгорел…

— Какой Рахметов?

— Герой романа. Ах, какой это человек, какой человек! Он считал, что может быть счастливым только тогда, когда все люди станут счастливыми. Он презирал роскошь, восставал против эксплуатации человека человеком. Это очень сильный и мужественный человек, твердо верящий в будущее. Представляешь, Петко, он аристократ, но порвал со своей средой, работал плотником, перевозчиком, бурлаком. Тянул бечевой баржи по Волге. Видел картину Репина «Бурлаки»? Вот таким был и Рахметов. Он делал это, чтобы заслужить уважение и любовь простых людей. Все свои деньги он отдал на революционное дело. Но Чернышевский говорит, что таких людей, как Рахметов, еще немного. Честных и добрых людей масса, а таких — мало. Но они в ней — как теин в чае, это двигатели двигателей. Меня смущает только одно. Чернышевский считает, что мир можно изменить с помощью крестьянской социалистической революции, а Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте» выводят на передний план рабочих. А вообще-то Чернышевский здорово изобразил борьбу новых людей против допотопного крепостнического общества, темноты и невежества…

Они вошли в село и направились к источнику с горячей минеральной водой, стекавшей в замшелые колоды, над

которыми поднимался пар. Вымыли руки, плеснули несколько пригоршней воды в лицо и, сняв пиджаки и перекинув их через плечо, зашагали по сельским улицам, тонущим в сонной утренней дреме праздничного дня.

— А знаешь, что случилось у нас дома прошлой ночью? — снова принялся рассказывать один из друзей. — Когда ко мне попала эта книга, я совсем голову потерял. Не могу оторваться, да и только. Таскаю ее с собой в типографию, читаю во время обеденного перерыва. Однажды отец спрашивает:

«И что это ты, Георгий, все читаешь?»

«Книгу, — говорю, — читаю».

«Я и без тебя вижу, что это книга, а не кирпич».

«Роман», — говорю я с гордостью.

«Роман?»

Дома у нас и слова такого не слыхали. Все посмотрели на меня с удивлением, а ребятишки — те просто онемели… Ну так вот. Я, как ты знаешь, сплю внизу. Очень люблю свою комнатку. У меня там деревянная кровать, столик и керосиновая лампа. После ужина я пошел к себе, мама постелила мне, задернула занавески и пожелала спокойной ночи. Я сразу же ухватился за книгу. Читаю. И чем дальше читаю, тем больше она мне нравится. Потом глаза у меня стали слипаться, и я, чтобы прогнать дремоту, принялся ходить по комнате и читать вслух:

«Я был с вами откровеннее, чем с другими; вы видите, что такие люди, как я, не имеют права связывать чью-нибудь судьбу со своею»…

И вдруг слышу за дверью шепот. Распахнул дверь и вижу отца с матерью, сонных, дрожащих, испуганных. Отец держит в руке старинный пистолет.

«Что случилось?» — говорю.

«Кто у тебя?» — строгим голосом спрашивает отец, оглядывая комнату.

«Никого».

«А с кем ты разговаривал?»

Они волнуются, а меня смех разбирает.

«А ну-ка, — прикрикнул старик, — признавайся, куда ты спрятал того, с кем ты разговаривал?» — и заглянул под кровать.

Еле-еле их успокоил…

Пологие склоны Люлина уходили вверх. Вокруг простирались луга, шумели молодой листвой буковые леса, пахло свежей, умытой дождем зеленью. Друзья ненасытно любовались весенней красотой земли. Они шли, не чувствуя усталости.

— Я, Петко, буду защитником народа, как Рахметов. Знаю, у меня хватит на это сил. Одного лишь мне не хватает — времени.

Весь день топчусь у наборной кассы, складываю из литер мертвые истины, мысли тупоголовых государственных деятелей и продажных писак. Как мне все это опротивело! Как хочется набирать такие слова, от которых в сердцах рабочих разгорится пламя! Весь этот старый, опустошенный мир надо сжечь, чтобы он сгорел дотла вместе со всей его ложью и порочностью! Дядя Гаврил мне частенько советует побольше читать. И я читаю. Ночами. Усилием воли прогоняю сон, но иногда чувствую слабость, кружится голова.

— Устал ты. Нужно спать побольше.

— Так и лучшие годы проспать недолго. Когда же учиться? В революционную борьбу нужно вступить сильным, во всеоружии, знать как следует Маркса и Энгельса. Знаешь, иногда мне кажется, что я вижу будущее совсем ясно, и понимаю, что для меня в жизни существует только один путь: отдать все силы борьбе с капиталом. Хочу быть воином армии социализма. Великое это дело!

Петко с удивлением смотрел на товарища, словно видел его впервые. Глаза Димитрова сияли, отражая самые сокровенные переживания души.

Юноши углубились в лес. Ветви буков шатром сомкнулись у них над головой. Долго шли молча, поглощенные своими мыслями. Неожиданно перед ними вырос монастырь с кособокими хозяйственными постройками, выбеленными известью. Из открытой двери монастырской церкви шел запах ладана, слышалось протяжное пение, заглушаемое журчанием источника. Друзья, разгоряченные долгой ходьбой, напились воды, осмотрелись.

— Никого. Мы первые. Пойдем их встречать, — предложил Петко. Они повернули обратно, вновь пересекли лес и, выйдя на поляну, стали ждать. Завидев группу рабочих-печатников, поднимавшихся по склону Люлина, они радостно закричали и принялись подбрасывать вверх шапки. Товарищи ответили им тем же. Следом за рабочими ехали две телеги, нагруженные разной снедью и одеждой. На одной из телег сидел фотограф с допотопным фотоаппаратом.

Шумная компания устремилась в лес. Внезапно Георгий остановился, поднял руку и крикнул:

— Что это мы бредем, словно орда башибузуков? А ну, стройся в колонну!

Все построились: впереди шел знаменосец с красным знаменем, за ним председатель профсоюза печатников и другие руководители профсоюза, женщины, дети, рабочие. Так и прибыли в монастырь.

Монахи с удивлением смотрели на алый стяг и шумную колонну экскурсантов. Прибывшие дружно разгрузили телеги, собрали сухие сучья, разожгли костер. Женщины занялись приготовлением обеда. Мужчины заглянули в монастырские кельи, побродили по двору, то и дело нетерпеливо поглядывая в сторону костра.

— Господи прости и помилуй! — доносились из церкви унылые голоса монахов.

Обедали на зеленой лужайке. Женщины разостлали белые скатерти, разложили ломти хлеба, а Георгий и Петко начали разносить тарелки.

— А ну, Георгий, давай сюда!

— Помилуй мя, Петко-о-о! — протяжно затянул шутник и весельчак Стоян Кечеджиев, у которого на жилетке висела цепочка от часов. — Я, братцы, в церковь сейчас ходил и господу-богу молился: ниспошли, о господи, рабу твоему Стояну часы марки «Зенит». Увы, моя просьба осталась без ответа. Хоть ты, Петко, смилуйся надо мной, дай мне кусок мяса побольше!

В ответ зазвенел дружный смех. Обедали долго. Но вот стук ножей и вилок умолк. Некоторые принялись искать местечко под деревьями — траву помягче и кружевную тень. А человек двадцать рабочих отправились дальше в горы. Шествие замыкал фотограф. Вскарабкались на вершину, с которой открывались поросшие лесом западные склоны Витоши, далекие Перникские возвышения. Тысячи рабочих добывали там уголь. Георгий Димитров мечтательно глядел на этот очаг будущих бурь.

— Здесь и сфотографируемся, — сказал председатель.

Начались приготовления к ответственному моменту. Стоян Кечеджиев занял место в первом ряду, Георгий и Петко скромно встали позади. Фотограф, накрывшись с головой черным покрывалом, долго возился со своим аппаратом. Наконец он крикнул:

— Внимание!

Все застыли с серьезными лицами, устремив взгляд вдаль. Тишину нарушил Стоян.

— Послушай, — обратился он к фотографу, — я не хочу, чтобы на фотографии было видно, что у меня нет часов!

Раздался дружный смех.

— Стоян, ты чуть не испортил историческую фотографию! — шутливо заметил ему Георгий Димитров.

Постепенно смех затих. Фотограф щелкнул затвором, грациозно раскланялся:

— Мерси!

Весь день звенели над Люлином песни. Рабочие бродили по

полянам, собирали цветы или просто отдыхали в тени деревьев за дружеской беседой.

К вечеру колонна, с красным знаменем впереди, тронулась в обратный путь. Внизу в фиолетовых сумерках, мерцая огнями, лежала София.

ЗАЩИТНИК НАРОДА

Он, Чавдар, дружину эту
двадцать лет водил по свету,
и страшна была дружина
всем изменникам и туркам.
А страдальцы укрывались
под крылом у воеводы…

Христо Ботев

Поезд вез солдат, возвращавшихся из отпуска, на фронт, на юг, к излучине реки Черны и Каймакчалану, где не прекращалась кровавая жатва и где сыновья болгарского народа гибли тысячами от снарядов и пуль англичан и французов, от голода и эпидемий. Шел ноябрь 1917 года. Эшелон почти сплошь состоял из платформ. Они громыхали по рельсам, жалобно поскрипывая и оглашая окрестности неумолчным гулом. На деревьях вдоль полотна сидели нахохлившиеся мокрые вороны. Солдаты, загнанные, словно скот, в товарные вагоны, сидели, съежившись, под брезентовыми полотнищами и молча прощались с родными полями, где убитые горем жены бросали в землю семена, а подростки устало плелись за сохой. На станциях к вагонам бросались все новые и новые отпускники с ранцами за спиной, словно им не терпелось поскорее попасть под жернова огненной мельницы. За ними бежали плачущие женщины, ребятишки, шмыгая носом, во все глаза смотрели на поезд, на угрюмых мужчин в залатанных шинелях, на свисавшие вниз ноги в кованых солдатских сапогах. Во всем эшелоне был только один пассажирский вагон. Он предназначался для офицеров, и солдатам вход в него был запрещен.

Скрипнули тормоза, и вагоны, загромыхав буферами, остановились на глухом полустанке. Окружившие его липы роняли на землю желтые листья. Из станционного здания выбежал солдат с туго набитым заплечным мешком и, сильно припадая на правую ногу, кинулся к первому товарному вагону. За ним неловко семенила молодая женщина в полосатом переднике, черном платке, с косами до пояса. У нее было измученное лицо и заплаканные глаза. Она несла две большие сумы и корзинку, обшитую сверху полотном.

— Не найдется ли у вас местечка для меня? — спросил солдат тех, кто сидел у двери.

— Нету, братец! Поищи дальше! И куда ты пустился с

больной ногой? — ответил какой-то бородач с трубкой в зубах. — Говорят тебе, беги дальше! — закричал он, увидев, что хромой беспомощно озирается по сторонам.

Солдат заковылял дальше. Женщина следовала за ним, как тень. Она останавливалась возле каждого вагона и просила:

— Потеснитесь немножко, пустите его! Хромой он, не видите, что ли. Ах, господи, останется ведь!

— Беги в пассажирский! Чудак человек, еле ползет? Небось, от англичан побежишь прытче зайца. Живей, живей! — кричал ему вслед бородач.

Раздался сигнал к отправлению. Паровоз засвистел. Женщина закричала:

— Беги, Венко! Беги!

Солдат напряг последние силы и побежал, волоча хромую ногу. Когда он ступил на подножку пассажирского вагона, эшелон уже тронулся. Женщина бежала рядом с вагоном, передавая ему сумы и корзинку. Как только последний вагон прогрохотал мимо, она закрыла лицо передником и зарыдала.

Солдат прошел в коридор, остановился у двери первого купе, поставил корзинку на пол, снял вещевой мешок, тоже положил его на пол, прислонил к нему сумы и стал смотреть в окно. Крупные капли дождя ручейками сбегали по стеклу. Сквозь него чуть виднелись клочки земли, где он пахал и жал. Деревья убегали назад, голые ветви их качались на ветру, будто говоря ему: «Прощай!» К горлу подступил комок. Солдат отвернулся от окна и заглянул в купе. Там сидел красивый молодой человек с кудрявыми волосами, черной, как смоль, бородкой и большими блестящими глазами. Штатский.

Взгляды их встретились. Штатский открыл дверцу купе и сказал:

— Входи, товарищ, не стой в коридоре!

«Чудной человек, говорит мне «товарищ», — подумал солдат и втащил свои вещи в купе. Пассажир помог ему разместить багаж.

— Я видел тебя из окна, — сказал он, — сильно хромаешь. Почему не остался в лазарете?

— Мест не хватает. Привезли тяжелораненых, а нас, которые поздоровее, выписали.

— Куда путь держишь?

— К излучине Черны. Как доберусь туда на одной ноге, сам не знаю.

— Уж очень ты нагрузился, брат.

— Не для себя везу. У нас вся рота, можно сказать, из земляков. Приеду, а все мне в руки смотреть будут. Люди-то

голодные, сам понимаешь. Гостинцы им бабы шлют. Наскребли по углам что могли. Эх, помирает с голоду наш брат в окопах!

— Наш брат помирает с голоду в окопах, а правители повернули орудия еще и против России. Мало им, видно, одного фронта…

В это время по коридору прошел полковник с голым черепом, в очках, с золотыми погонами на плечах. У дверей купе он замедлил шаг, пристально посмотрел через стекло и двинулся дальше.

Солдат съежился.

— Ну, сейчас он на меня налетит, как бешеный бык, — проговорил он и не успел кончить, как полковник вернулся, резко дернул ручку двери и крикнул:

— Рядовой!

Солдат вскочил и откозырял.

— Слушаюсь, господин полковник!

— Тебе известно, что этот вагон не для таких, как ты?

— Так точно, известно, господин полковник!

— Тогда что тебе здесь надо?

— Нигде не нашлось места, господин полковник!

— Он ранен, еле на ногах держится, а вагоны переполнены. Здесь есть место, пусть останется, — вмешался штатский.

— Не ваше дело! А ты уберешься отсюда на первой же остановке!

— Слушаюсь, господин полковник!

Захлопнув дверь купе, полковник зашагал дальше с видом человека, достойно исполнившего свой долг.

Как только поезд замедлил ход, солдат закинул за спину вещевой мешок, снял с полки сумы, корзинку и сказал с горькой усмешкой:

— Вот и выгнали меня из рая. Для них мы не люди. А не выполнишь его приказа, так под суд отдаст.

Штатский помог ему устроиться в тормозной будке соседнего вагона. Руки у него дрожали от возмущения.

Когда поезд тронулся, полковник вновь заглянул в купе — проверить, выполнен ли его приказ. Штатский встал и сказал ему:

— Господин полковник, вы поступили недостойно!

— Как? — закричал полковник.

— Повторяю: вы поступили недостойно. Вышвырнули из купе раненого солдата, хотя почти весь вагон пустой.

— Известно ли вам, что такое военные законы?

— Кроме ваших военных законов, есть и другие, человеческие законы, которые, очевидно, вам неизвестны. Этот несчастный хромой солдат — жертва вашего безумия. Вместо того, чтобы

засеять свое поле или хотя бы остаться в лазарете, пока не заживет рана, он спешит вернуться на фронт, а вы не разрешаете ему провести несколько часов в тепле!

— Кто вы такой, сударь, чтобы позволять себе говорить со мной таким тоном?

— Я депутат парламента.

— Ваше имя?

— Георгий Димитров, от партии тесняков.

— Куда вы едете?

— Я не обязан вам об этом докладывать.

— Вы едете, чтобы сеять смуту среди наших солдат. Но я вас научу уму-разуму!

— Вы меня ничему не научите, потому что сами ничего не знаете. Но тот, которого вы вышвырнули, никогда вам этого не простит.

Из соседних купе стали выглядывать офицеры. Полковник побагровел, резко повернулся и зашагал по коридору.

В этом вагоне эшелона, направлявшегося на южный фронт, в 1917 году встретились трое. Один принадлежал к вдохновителям тех, которые позднее, по словам Антона Страшимирова, «истребляли свой народ так, как турки его не истребляли», другой был хлебопашцем, отцом детей, что четверть века спустя с оружием в руках ушли в горы по стопам Ботева и Левского, третий — одним из величайших людей нашей эпохи, неустрашимым борцом за правду и коммунизм. В этот дождливый день он ехал на южный фронт, чтобы рассказать болгарским солдатам о первых сполохах Великой Октябрьской революции. За заступничество, о котором только что шла речь, он был приговорен к трем годам тюремного заключения.

За окном купе лил холодный ноябрьский дождь. Вагоны толкались один о другой, как овцы, подгоняемые злым пастухом.

КАФЕ «ВАРВАРА»

— Скажи мне, кто твой лучший друг?

— Лучший друг мне тот, кто лучший друг моему народу.

Китайская пословица

Он прибыл в Драму поздно вечером поездом из Ксанти. Его встречали двое солдат — телеграфисты штаба дивизии, разместившейся в городе. Часовой, стоявший у входа на перрон, не остановил их, это был свой товарищ. Он только улыбнулся и сказал: «Проходите!» Тесняки организовали в дивизии политический кружок. Они знали, что положение на фронте очень напряженное и что на севере произошли небывалые в истории события. Революционной волной смело корону с головы императора. Но что же все-таки произошло? Все хотели знать об истинном положении дел в России. И вот теперь не кто-нибудь, а один из виднейших народных трибунов — посланец Центрального Комитета прибыл сюда, чтобы рассказать об этом.

Из трубы паровоза вырывался сноп ярких искр. Он тяжело пыхтел, оглашая шумом притихшую Фракийскую равнину. Как только состав остановился, из вагонов на перрон высыпали сотни солдат с ранцами и ружьями за плечами, с корзинками провизии в руках. Димитров был единственным штатским среди военных. Он соскочил с подножки предпоследнего вагона и прошелся по перрону, вглядываясь в лица встречающих. Двое солдат сразу же узнали его по бороде и направились к нему. Когда они поравнялись, один из них громко сказал своему спутнику:

— Сегодня вечером поезд опоздал.

Димитров, не останавливаясь, заметил.

— Поезда всегда опаздывают.

Это был ответный пароль.

Не говоря ни слова, один из солдат прибавил шагу, обогнал приезжего и пошел метрах в десяти впереди него, а второй несколько отстал. Димитров молча следовал за первым солдатом, размахивая саквояжем. Через несколько минут они исчезли в лабиринте кривых драмских улочек. Война давно уже задула старые уличные фонари с разбитыми стеклами. Только луна по-прежнему плыла в чернильном осеннем небе — золотистая, круглая, словно каравай, какие пекли в доброе старое время, когда еще не было слышно грохота орудий. Каменные ограды

отбрасывали густые черные тени. Ветер срывал с деревьев листья. Подкованные сапоги солдат гулко стучали по булыжникам мостовой. Они вышли к берегу. На воде поблескивало отражение луны.

Начальник полевой почты, руководивший кружком, жил в приземистом домике, скрытом от глаз прохожих высокой каменной оградой, над которой торчала одна дымовая труба. Первый солдат распахнул калитку и направился со своими спутниками к дому. Дойдя до двери, он не стал стучать или звать хозяина, нажал на ручку и скрылся в темном проеме двери. Димитров пригнулся, чтобы не удариться о притолоку. Сильный свет карманного фонарика на мгновение ослепил его.

— Сюда, товарищ Димитров! — услышал он голос хозяина, который осветил фонариком крутую узкую лестницу, ведущую куда-то вниз. Солдат посторонился, и Димитров начал осторожно спускаться по скрипучим ступенькам. «В подвале, наверное, тайник», — подумал Димитров. Но, войдя в тесную комнатку, снова увидел за окном воду и блестевшее в ней отражение луны. Хозяин потушил фонарик, поспешно занавесил окно брезентом, зажег керосиновую лампу и радостно пожал обеими руками руку гостя.

— Ну, с приездом!

— Спасибо, Попдимитров! Рад вас видеть. О вас мне рассказывали рабочие с табачной фабрики в Ксанти. А не боитесь принимать таких гостей, как я?

— Да я, как говорится, уже положил голову на плаху, — ответил тот и махнул рукой провожатым Димитрова, нетерпеливо заглядывавшим в комнату: — Входите к закрывайте за собой дверь!

Димитров порывисто обернулся:

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравия желаем! — в один голос ответили солдаты.

— Садитесь, товарищи! А вы, товарищ Димитров, присядьте сюда, на кровать.

— Мы можем и постоять, — смущенно проговорил один из солдат.

— Зачем же? Вон сундучок, на него и присядьте. Только я сперва хлеб из него выну.

Попдимитров откинул крышку сундучка, извлек оттуда буханку черствого солдатского хлеба и положил на стол. Потом порылся в корзине, стоявшей в углу комнаты, достал кусок сыра, аккуратно завернутого в бумагу, и четыре кисти винограда с мелкими сморщенными ягодами.

— Мы не будем есть, — отрицательно мотнул головой один

из солдат, проглотив слюну.

— Как это так не будете? — возразил хозяин. — Вместе и поужинаем. Где вы найдете сейчас виноград и сыр? Мне вчера эту корзинку из деревни прислали. Больше ничего у меня нет, не обессудьте, товарищ Димитров.

— Чудесный ужин! — протягивая руку к хлебу, сказал Димитров, у которого весь день во рту маковой росинки не было. — Ну, как вам здесь живется?

— Туго приходится. Голод одолевает. Видите, какой хлеб нам выдают — весь заплесневелый. Солдаты совсем обносились. Да вон, возьмите хоть нашего Велина, — и хозяин указал на второго провожатого, того, что шел следом за Димитровым, — у него ни сапог, ни шапки. Я ему свои одолжил, чтобы он мог вас встретить.

Услышав свое имя, Велин хотел было вскочить, но товарищ остановил его, шепнув:

— Не вставай!

— С лета босиком ходит, — продолжал рассказывать Попдимитров, — а вместо шапки обматывает вокруг головы какую-то тряпку. Солдаты все чаще собираются в укромных уголках, перешептываются. Ну, а как в тылу?

— Да как сказать. Те, кто немцам служит, жиру себе наели. У спекулянтов полно риса, сахара, брынзы, сала. В городах происходят стихийные демонстрации голодных женщин и детей, в селах — женские бунты. Самые смелые нападают на склады с реквизированными продуктами, жгут сыроварни.

— А знаете, что здесь позавчера произошло? — спросил хозяин.

Но Велин перебил его:

— Разрешите мне рассказать!

— Рассказывай, Велин!

— Позавчера из дивизионного лазарета выволокли одного раненого и расстреляли его. Оказывается, ротный настрочил на него донос: сбежал, мол, с поля боя при виде противника, а потом сам покалечил себя. А его, бедолагу, ранило в самом начале сражения. Осколком снаряда раздробило колено, и он, естественно, не смог участвовать в атаке. После этого он четыре месяца пролежал в лазарете, доктора ампутировали ему ногу. Но донос ротного сделал свое дело. Раненого судил военно-полевой суд. Все провернули на скорую руку. У меня сердце облилось кровью, когда четверо солдат вывели этого несчастного, ковылявшего на костылях, и расстреляли перед всей дивизией. Дали первый залп — а он стоит, второй — опять мимо и только после третьего упал…

Димитров закусил губу, положил на стол хлеб и виноград. По

лицу пробежала тень.

— Есть тайный приказ арестовывать и расстреливать самых сознательных и непокорных солдат в назидание другим, — сказал он глухо.

— Да, вот что у нас творится. А в России-то, в России что происходит? — спросил хозяин.

Лицо гостя сразу просветлело.

— В России, мои дорогие, завертелось колесо революции, и нет такой силы на земле, которая могла бы его остановить. Десятки и сотни тысяч рабочих, матросов и солдат собираются под знамена партии большевиков. Там…

И он начал рассказывать о первых красных полках, о подвиге рабочих Путиловского завода, которые трудятся по шестнадцать часов, чтобы дать Красной гвардии больше броневиков, пушек и снарядов, о штурме Зимнего дворца. Когда он рассказал о том, как крейсер «Аврора» дал первый залп по этой цитадели царизма, Велин вскочил и, сжав кулаки, воскликнул:

— Ах, почему я не там!

— Тише ты! — одернул его другой солдат.

— А кто стоит во главе революции? — спросил Велин.

— Ленин. Владимир Ильич. Он недавно возвратился из-за границы. Сейчас он в Петрограде.

— Ленин! — шепотом повторил солдат.

— Большевики хотят заключить мир — достойный, демократический, — продолжал Димитров. — Они уже начали раздавать крестьянам помещичью землю, заводы один за другим переходят в руки рабочих. Знаете, что сказал Ленин в тот день, когда Зимний дворец был взят? Запомните его слова: «Наступает новая эра в истории России, и революция приведет к победе социализма».

Солдаты встали и радостно обнялись.

— Вот бы мне попасть туда! — снова вздохнул Велин.

Глухо пропел петух, запертый хозяином в подполье.

— Товарищ Димитров, вы сообщили нам важные и очень радостные вести. Как вы считаете, можно будет собрать завтра наших самых преданных товарищей? А вы им расскажете о России.

— Хорошо, — согласился Димитров. — Где и когда мы встретимся?

— Завтра вечером. Нас будет человек пять-шесть. Место встречи — кафе «Варвара», на берегу Драмотицы. Значит, договорились? Тогда все. Спокойной ночи, товарищи! — кивнул Попдимитров солдатам.

Велин щелкнул каблуками и нагнулся, чтобы снять чужие

сапоги. На улицу он вышел босиком.

На следующий день к вечеру, когда солнце запуталось в ветвях миндальных деревьев, росших под самыми окнами начальника полевой почты, дверь открылась, в комнату без стука ворвался Велин.

— Разрешите доложить! — отдав честь, сказал босоногий царский солдат.

— Все в порядке?

— Никак нет! Наши уже заняли позиции за столиком под старым платаном, но рядом пристроились два филера. Они у меня узнают, почем фунт лиха! Гроша за душой нет, а они сидят в кафе да мух считают. Я было подкатился к ним, пригласил по городу погулять — не хотят. Видать, пронюхали что-то. Весь город знает, что товарищ Димитров здесь!

Димитров взял шляпу и сказал:

— Я их сейчас оттуда выживу. Встреча должна состояться.

Когда Велин, начальник почты и Димитров вошли в кафе, все взгляды обратились к ним. Димитров остановился, посмотрел на столик у старого платана, потом на сыщиков, дремавших за соседним пустым столом. Быстрыми шагами пересек расстояние, отделявшее его от сыщиков, подошел вплотную и громко сказал.

— Здравствуйте, ребята! Вам приказали следить за депутатом народа и даже кофе не угостили. Эй, принесите этим молодцам по чашке кофе! Я угощаю!

В кафе загремел смех. Сыщики покраснели до кончиков ушей, вскочили и понуро пошли к выходу. Один из них пробормотал:

— Мы, господин Димитров, не по своей воле сюда пришли. Служба…

Димитров улыбнулся и направился к столику за платаном, где его с нетерпением и волнением ждали товарищи.

В ИСКЫРСКОМ УЩЕЛЬЕ

«Нас пленяла львиная смелость
болгарина с львиной головой».

Из печати

Шахтеры пришли последними. Зал уже был битком набит. Матейка с трудом протиснулся сквозь толпу у двери. Он задул шахтерскую лампу и, расталкивая рабочих, перешагнул через порог. Но и внутри, в зале, люди стояли плотной стеной. Низкорослый кочегар видел одни лишь спины, головы людей да белокорые стволы и ветви деревьев, нарисованных на кулисах. От свисающей с потолка, засиженной мухами лампочки струился лимонно-желтый свет. Холодный ветер силился разорвать бумагу, которой были заклеены разбитые окна, стремился ворваться в зал.

— Куда прешь, не слепой ведь! Разве не видишь, что яблоку негде упасть? — прикрикнул на Матейку какой-то небритый, черномазый мужчина.

— Хоть глазком на него взглянуть!

— Тогда полезай мне на голову! — прорычал небритый мужчина. Измученные рабочие были доведены до полного отчаяния. Всеобщая забастовка, продолжавшаяся целых 55 дней, завершилась провалом. Предатели из профсоюза машинистов и пресмыкающиеся из профсоюза служащих почты и телеграфа предали интересы рабочего класса. Вспыхнувшая было надежда озарила на какое-то мгновение манящий путь в будущее и угасла. Снова загудели паровозы, повернулись их огненно-красные колеса, и сдвинулись с места составы; по канатной дороге снова побежали над скалами груженные рудой вагонетки; телеграфисты сели за свои аппараты; учителя вошли в душные классы… Но камень, который тяжким бременем лежал на сердце у каждого рабочего человека, стал еще тяжелее. Зима свирепствовала. Ветер сдул с деревьев снег и угрожающе раскачивал их ветви. У людей не было ни дров, ни угля. Дети ходили в лохмотьях, дрожа от холода. Не хватало хлеба. В то же время у мироедов было все. Их карманы были туго набиты деньгами, награбленными во время войны, в их кладовых хранились мешки с мукой, ящики с сахаром, бочки с брынзой, копченые окорока, жестянки с оливковым маслом. Они ввозили для себя из-за океана белую, как снег, муку, и Народный банк оплачивал ее золотом. А бумажный лев таял, словно снежинка на пылающей жаром ладони больного.

Мироеды жирели за счет народа. «Работнически вестник» выходил весь изъеденный молью цензуры. По ночам полицейские вламывались в дома, вылавливали коммунистов.

— Тебе на голову я лезть не собираюсь, но ежели пособишь взобраться вон на тот подоконник — буду очень благодарен. Ничего не поделаешь, ростом я не вышел, — добродушно сказал небритому Матейка.

Тот взглянул на него искоса. Ему понравилась застенчивая улыбка парня в солдатской фуражке без кокарды, такого же черномазого, как и он сам.

— Что ж, пособлю, — сказал он и, подставив руку под согнутую в колене ногу Матейки, подтолкнул его вверх. Кочегар ловко вскочил на потрескавшийся подоконник.

— Ну как? — спросил небритый.

— Все тот же. Таким я видел его и в Софии, когда мы хоронили трех убитых рабочих. Он шел впереди и не обращал ни малейшего внимания на винтовки полицейских. А мы шли за ним и несли три гроба.

— Кто же их убил? — подался вперед Лазарь Бочар — здоровенный детина, бессменный знаменосец на первомайских демонстрациях. Краем уха он давно уже прислушивался к их разговору и теперь горел от нетерпения принять в нем участие.

— Ну, куда это ты опять лезешь? — схватила его за локоть жена — сухощавая, преждевременно состарившаяся женщина, всю жизнь не снимавшая черного траурного платка: ей пришлось похоронить одного за другим всех своих детей.

Матейка приложил палец к губам:

— Тише! Начинает!

Матейка увидел, как секретарь Всеобщего объединения рабочих профсоюзов сделал несколько шагов по сцене и остановился у суфлерской будки. При первых же словах оратора с лица кочегара исчезло виноватое выражение, и ему на смену пришла хорошая светлая улыбка. Он был уверен, что оратор скажет что-то необыкновенное, что он вдохнет надежду в сердца всех, кто пришел сюда отчаявшимся и хмурым, не зная, какой путь избрать, куда податься. И по мере того, как креп голос оратора, шахтеры забывали свои страдания, забывали ругань, побои и угрозы, с которыми они сталкивались каждый день, и начинали понимать, что борьба еще не окончена и что ее надо довести до конца.

— Нас, коммунистов, рабочий класс, называют дармоедами! И кто же нас так называет? Те, кто, словно клещи, впились в тело народа и сосут его кровь. Крупные капиталисты, помещики, кулаки, царские лакеи. Мы для них городские бездельники.

Взгляните на свои мозолистые руки, товарищи шахтеры, и скажите — бездельники ли коммунисты? Говорят, что мы хотим кормить людей из общего котла, так якобы большевики кормят русский народ, говорят, что мы хотим сделать общими землю крестьян и жен. Вряд ли найдется здравомыслящий человек, который поверил бы в такую чушь! Товарищи, в России коммунистическая партия отняла поместья не у крестьян, ведь у них никогда их не было. Наоборот — она дала крестьянам землю. Сделала их хозяевами огромных имений, которыми испокон веков владели помещики. А что касается женщин, то пусть не обманывают легковерных те, кто торгует своими дочерьми, кто готов променять свою жену, кто ночи напролет проводит в кабаре и, не моргнув глазом, посягает на чужую честь. Коммунистическая партия борется за чистоту и святость домашнего очага, за семью, в которой женщина будет не рабыней и домашним скотом, а другом и соратником мужа…

— Слыхала? — толкнул локтем жену Лазарь Бочар, который знал, что в церкви старый поп Никола забивает голову богомольным бабам всякой чушью.

А Матейка, окинув победоносным взглядом весь зал, поставил лампу у ног и громко захлопал в ладоши. Потом снова взял в руки свой «светильник».

Рабочие слушали, как завороженные. Лица посветлели, в глазах появился огонь. Словно по мановению волшебной палочки растаял тяжелый камень, лежавший у них на сердце.

— Чего мы требуем? Во имя чего зовем рабочих и крестьян встать в эту суровую зиму под наше знамя? Мы требуем, — в голосе оратора появились стальные нотки, — хлеба, угля, одежды и крова для народа. Мы требуем, чтобы были сняты кандалы с рук товарищей, брошенных в тюрьмы военно-полевыми судами. Мы требуем привлечения к суду виновников военной катастрофы — тех, кто усеял могилами долину Вардара и каменистые холмы Македонии. И эти люди осмеливаются называть политическими разбойниками нас, болгарских коммунистов, забывая, что в пятнадцатом году мы единственные выступили с манифестом против войны!

Готовясь захлопать в ладоши, Матейка опять поставил лампу на подоконник, но в эту минуту в зал ворвалось человек пять-шесть полицейских с поднятыми над головами ружьями, как при переправе вброд через глубокую и бурную реку. Ими командовал пристав — с черными усиками и кошачьими глазами. Стуча по полу коваными сапогами, полицейские начали расталкивать притихших людей. Пристав остановился рядом с Бочаром, обшарил взглядом зал и, щуря глаза, пристально посмотрел на

оратора. Потом взмахнул руками и крикнул:

— Прекратить собрание! Приказываю всем разойтись по домам!

Георгий Димитров не пошевельнулся. Не обращая никакого внимания на полицейских, он продолжал говорить. Слова его, точно плеть, хлестали жандарма по лицу.

— Эй, Димитров, тебе говорю — прекращай болтовню! — впился в него своими кошачьими глазами пристав. — Ты арестован. Следуй за мной, сукин ты сын.

Ни один мускул не дрогнул на лице оратора. Димитров лишь сделал небрежное движение рукой, будто прогоняя надоедливую муху. Толпа зашевелилась. По последним рядам прокатился глухой ропот, подобный грохоту приближающегося состава. А над этим ропотом гремел голос Димитрова — неудержимый, как бурный горный поток, ворочающий камни. Матейка прикусил нижнюю губу, дыхание его участилось.

Полицейский побледнел. Дрожа от ярости, он выхватил из кобуры револьвер и направил его на оратора.

— Замолчи или я застрелю тебя! — заорал он не своим голосом. — Раз!

Но перед ним стоял бесстрашный человек. Не сводя глаз с руки, держащей револьвер, Георгий Димитров выкрикнул:

— Да здравствует Болгарская коммунистическая партия!

— Два! — прозвучал голос полицейского.

— Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик! — прогремел над толпой голос Димитрова.

— Ой, мамочки, застрелит! — вскрикнула жена Лазаря. — Чего вы смотрите — ведь этот зверь и вправду застрелит хорошего человека! — и она закрыла глаза руками.

И тут произошло нечто необыкновенное. Через головы рабочих, точно пантера, Матейка бросился на полицейского. Рука у пристава дрогнула, раздался выстрел, и пуля вонзилась в потолок.

— Так значит!.. — взревел Бочар и протянул свои огромные лапы к приставу, но тот уже исчез под ногами навалившихся на него рабочих.

Поднялся адский шум. Затрещали стулья. Под градом сыпавшихся на них ударов полицейские еле ноги унесли..

— Держи его! — раздался во мраке голос Лазаря. — Стой, мерзавец, стой! Сейчас утоплю тебя в реке, как конопляный сноп!

Но пристав успел незаметно улизнуть и, дрожа, как лист, забился в пустой угольный сарай…

Через полчаса на станцию прибыл ночной поезд. На лицах шахтеров, пришедших проводить оратора, играли отблески света,

лившегося из окон вагонов. Георгий Димитров отыскал глазами маленького кочегара в солдатской фуражке и, быстро подойдя к нему, схватил его за руку:

— Благодарю тебя! От всего сердца благодарю! Тот пес непременно бы застрелил меня, если бы ты не бросился на него.

— Что вы, товарищ Димитров, это пустяки, — ответил Матейка, и его лицо снова озарила хорошая улыбка.

— Закрывай двери! — донесся издали чей-то хриплый голос.

Поезд тронулся. Георгий Димитров вскочил на подножку первого вагона. Он махал рукой рабочим до тех пор, пока поезд не скрылся во мраке Искырского ущелья.

РАДИ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА

Смелого пуля боится,
смелого штык не берет.

А. Сурков

Люба Димитрова открыла калитку и вышла на улицу. Ледяной ветер хлестнул ее в лицо, взметнул концы шерстяного платка, словно предупреждая, что лучше вернуться домой. За Любой семенила в домашних туфлях ее свекровь, бабушка Парашкева.

— Может, останешься, доченька. Темень-то какая, хоть глаз выколи.

— Не беда, мама, я темноты не боюсь.

— А, может, он и вовсе не придет?

— Непременно придет. Слово Георгия — закон. Да он уже, наверно, там и ждет меня. До свидания, мама!

Люба решительно зашагала по Ополченской, а преждевременно состарившаяся мать Георгия Димитрова покачала головой, захлопнула калитку и, не заперев ее на ключ, вернулась в теплую комнату.

Люба на ходу поплотнее закуталась в мягкий платок, застегнула зимнее пальто. Свернула налево. Улица была безлюдной и мрачной. Ветер навевал вдоль заборов рыхлые сугробы, раскачивал тусклые уличные фонари, шуршал в разбитые окнах, заклеенных бумагой. Громко хлопали ставни маленьких лавок и мастерских, зловеще поскрипывали их вывески.

Молодая женщина, прислушиваясь к каждому шороху и боязливо оглядываясь по сторонам, быстро шагала по направлению к улице Марии-Луизы — туда, где никогда не затихал шум большого города.

«Тяжелый, страшный год выдался! — думала она. — Хлеб подорожал вдесятеро. Что будет с бедными? Демобилизованные солдаты вместо пальто носят шинели без погон. Ребятишки еле волочат ноги в тяжелых отцовских опорках. Георгий сказал, что правительство растратило половину золота Народного банка. Золото ушло на закупку муки в Америке, но народ по-прежнему голодает. Куда девалась эта мука? Повсюду снуют вооруженные люди. Солдаты английских и французских оккупационных войск пьянствуют в кабаках, стреляют из трамваев в прохожих, пристают к девушкам, бесчинствуют. По вечерам девушки не

смеют носу высунуть из дому.

На улице ни души. А каково в такую морозную ветреную ночь тем, у кого нет крова? Попытались было горемыки построить себе на государственной земле лачужки, чтобы у детей была крыша над головой, когда польют осенние дожди, но полиция разогнала их выстрелами. Стреляла в народ. Так погиб Киро Ковачев — прекрасный партийный работник. За его гробом шла вся рабочая София. Людская река хлынула к кладбищу в Орландовцах[3]. А Георгий шел впереди всех. Его всегда встретишь там, где опаснее всего. Он бросился к офицеру, приказавшему солдатам обнажить шашки против народа, схватил его коня за узду и гневно крикнул:

— Как вам не стыдно! Нападаете на безоружных людей, которые хоронят своего товарища! И, наверно, думаете, что вы герои! Убирайтесь, прочь с дороги, дайте людям пройти!

С такой яростью выкрикнул эти слова Георгий, что офицер стушевался, опустил саблю и, повернув коня, пропустил шествие. А у меня сердце замерло от страха. А если бы он зарубил саблей Георгия? Какую ненависть к палачам трудового народа прочла я тогда в глазах Георгия! Ах, эти огненные глаза! И почему ты у меня такой буйный и неукротимый, Георгий!» — вздохнула Люба. Она снова оглянулась и прибавила шагу.

«Сколько времени прошло с тех пор, как он вышел из тюрьмы? Вернулся он в декабре. Пришел небритый, голодный, худой. И сразу же ринулся в бой. Им завладела улица. Георгий нужен был народу. И снова пустует его кровать. Раскрытые книги лежат на столе так, как он их оставил, не горит до утра настольная лампа. Приятно смотреть, как Георгий читает, запустив пальцы в свои кудрявые волосы. А когда пишет, весь преображается. Перо так и бегает по бумаге, сигарета дымится, глаза чуть прищурены… Но… домой ему нельзя», — и молодая женщина вздохнула.

«Не успел Георгий выйти из тюрьмы — как сразу же подался в Перник, к старым друзьям, шахтерам. Там его арестовали вооруженные жандармы, снова бы в тюрьму попал, да рабочие вовремя отбили. Никогда на Софийском вокзале не собиралось столько народу, чтобы встретить арестованного. Вся София пришла. Тогда-то я по-настоящему поняла, что Георгий принадлежит не только мне, а всему народу!

Словно крылья у него выросли: летает с собрания на собрание, с митинга на митинг, бывает на рабочих вечеринках, в редакциях и типографиях. И всюду выступает, выступает. Когда Георгий говорит, в сердцах у людей загорается огонь. Такие теперь времена. Георгий говорит, что приближается день, когда революционная волна сметет династию с горбоносых кобургов и

всяких там мироедов в лаковых штиблетах, высоких цилиндрах и белых жилетах, что день и ночь толкутся во дворце…»

Внезапно где-то на Драгоманском бульваре прогремели ружейные выстрелы. Их треск гулко пронесся над окутанным ночным мраком городом. Кто-то дико вскрикнул, но ветер отнес крик в сторону. Люба вздрогнула и, затаив дыхание, прижалась к водосточной трубе какого-то дома. Холодные мурашки пробежали у нее по спине. Но выстрелы не повторились, и она снова зашагала по улице. Ее одолевали мрачные мысли.

«Тень зловещей руки, сжимающей рукоятку пистолета, преследует Георгия. Его жизнь постоянно висит на волоске. Ему угрожают те, от чьей руки в Берлине пали Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Та же самая преступная рука в один из летних дней на заводе Михельсона под Москвой нажала спуск, и две пули пронзили Владимира Ильича. Георгий рассказывал, что пули были смазаны ядом… А та бомба, которую бросили перед клубом партии, может, она должна была погубить Георгия? При взрыве погибло несколько человек демонстрантов. Ах, не следовало бы Георгию ночью ходить по пивным! Да еще без охраны!

А мороз-то какой? Цветы в глиняных горшках померзли. Так и иду к нему без цветочка… А вдруг пивная уже закрыта?» — мелькнуло у Любы в уме, и она замедлила шаги.

Но пивная еще работала. Увидев, что сквозь запотевшие окна «Здраве» пробивается тусклый свет, Люба вздохнула с облегчением. Она быстро перешла через улицу, толкнула дверь и вошла в зал. В пивной стояли клубы табачного дыма и винных паров, пахло жареным мясом и всевозможными приправами. Люба с трудом отыскала глазами в глубине зала столик, за которым сидел с друзьями Георгий Димитров. Он, улыбаясь, рассказывал им что-то.

«Сидит, смеется и знать себе ничего не хочет. А я чего только не передумала», — подумала про себя Люба и почти бегом бросилась в глубь зала.

Завидев жену, Георгий Димитров поднялся ей навстречу. Заботливо отряхнул с нее снег, подал стул. Его товарищи потеснились, освободили для нее место.

— Продрогла на улице? Может, напугал тебя кто-нибудь в темноте? — спросил он.

— Все в порядке. Ветер хлещет прямо в лицо. И стреляли где-то. А здесь тепло, даже душно, — сказала молодая женщина, снимая платок с головы.

— Стефан, закажи, пожалуйста, Любе чего-нибудь поесть. Ты знаешь официантов.

— Есть не буду — я уже ужинала. Пришла только повидаться.

— Как мама?

— Как всегда. По дому хлопочет и все ждет, что однажды ночью ты постучишь в окошко.

— А моя «охрана»?

— Все стерегут. Всю улицу оцепили. Ночью заглядывают через забор. А ты чего это по ресторанам ходишь? — упрекнула его Люба.

— Не беспокойся. Мы были на заседании, а сюда заглянули на несколько минут перекусить. Тебя ждали. Решили здесь не засиживаться.

— Товарищ Димитрова, пока мы рассчитаемся, выпейте хотя бы кружку пива, — предложил Стефан Аврамов и постучал вилкой по тарелке, чтобы подозвать официанта.

— Чего изволите? — подбежал к столику официант.

— Счет. И принеси-ка кружку хорошего пива нашей даме. Да и нам налей по одной.

К столику подошел светловолосый, краснощекий небритый парень, в пальто с поднятым воротником. Он похлопал Стефана по плечу, шепнул ему что-то на ухо и, незаметно сунув ему в руку свернутый листок бумаги, отошел к стойке. Заказал себе коньяка.

— Кто это? — спросил Димитров.

— Борис. Ты разве не знаешь его? Помощник Колю Божкова. Свой парень!

Аврамов развернул записку у себу на коленях и, внимательно прочитав ее два раза, закусил губу.

— Что он пишет?

— Предупреждает нас. Какие-то мерзавцы из военной лиги видели, как ты вошел сюда, — прошептал Стефан, не глядя на Георгия Димитрова.

— Ну и что?

— Устроили три засады: на углу перед пивной, напротив — на улице Царя Симеона и дальше — на улице Экзарха Иосифа.

— Ах, Георгий, — вздрогнула Люба. Веки ее выразительных глаз затрепетали, словно крылья испуганной птички. — Что же теперь делать?

Георгий Димитров под столом крепко сжал ее руку.

— Будь молодцом! Ну что они мне сделают? Возьми кружку и пей. Не показывай, что ты испугана, потому что и здесь за нами, наверно, следят. За ваше здоровье! Ведите себя так, будто ничего не произошло. Официант, счет! А ты, Стефан, ступай, побеседуй с тем парнем.

Стефан Аврамов встал из-за стола и медленно направился к стойке. Он остановился возле юноши с поднятым воротником.

— Оружие у вас есть? — спросил Борис.

— Только один револьвер.

— Бери! — спокойно сказал юноша, поднося левой рукой рюмку ко рту, а правой опуская Стефану в карман что-то тяжелое.

— Заряжен. Вам надо сразу же уходить. Как раз кончается сеанс в кинотеатре «Модерн». Смешаетесь с толпой.

Стефан вернулся за столик и, подсев поближе к Георгию Димитрову, тайком передал ему револьвер, хотя народный трибун никогда в жизни не стрелял из огнестрельного оружия. Оружием Димитрова было слово, и оно не знало осечки, било без промаха прямо в самое сердце людей. Наспех составили план.

Стефан предложил:

— Я выйду первым и постараюсь отвлечь внимание тех, кто в первой засаде. Тем временем вы пересечете улицу Марии-Луизы и вместе с толпой, выходящей из кино, по улице Царя Симеона направитесь к Ломской, а оттуда — домой.

Встали. Люба дрожала. Георгий Димитров надел шляпу, застегнул пальто на все три пуговицы, поднял воротник и спокойно направился к выходу. На улице было многолюдно, из дверей кинотеатра продолжали выходить все новые и новые зрители. На стене у кинотеатра ветер теребил обрывки афиши с портретом Франчески Бертини. Тут же рядом оборванный инвалид предсказывал «судьбу». У него на плече сидел попугай, который обычно вытаскивал из ящичка свернутую записочку с «судьбой». Но никто не интересовался бедным инвалидом и его попугаем. Четверо коммунистов мгновенно смешались с толпой, выходившей из кино. Стефан заметил на углу поджидавших их молодчиков. Не говоря ни слова, он отделился от маленькой группы и направился прямо к ним. Растолкав прохожих, он подбежал к первому из громил, стоявшему у стены, и, ударив его кулаком в лицо, лягнул ногой в живот.

— До каких пор ты будешь таскаться за мной? — процедил сквозь зубы смелый чирпанец[4].

Молодчик взревел от боли. Его товарищи растерялись и пустились наутек. Георгию Димитрову, Любе и их товарищу этого было достаточно: они пересекли мостовую, вышли на улицу Царя Симеона и исчезли в направлении Ломской.

Стефан Аврамов качал медленно отступать. Молодчики из второй группы заметили, что у кинотеатра происходит что-то неладное, бросились на помощь своим дружкам, открыли огонь. В темноте раздались выстрелы. Наступил переполох. Закричали женщины. Толпа бросилась врассыпную, и улица мгновенно опустела. В окнах «Модерна» погас свет. Хозяин пивной «Здраве» поспешно запер на ключ свое заведение. Стефан Аврамов, прислонившись спиной к стене дома, начал стрелять по

молодчикам, которые бегали от угла к углу, не понимая, куда исчез Димитров. Израсходовав все патроны, чирпанец проскользнул в темную улочку, стремглав пронесся мимо убогих клетушек ремесленников и, выбежав на улицу Царя Симеона, догнал Любу Димитрову, которая, простившись с мужем, спешила домой одна.

Кашлянув, чтобы не испугать ее, Стефан спросил:

— А где Георгий?

— Ах, это ты, Стефан? Георгий пошел к тебе. А что с этими?..

— Разбежались. Ну, и огрел же я одного из них…

— А теперь, Стефан, прошу тебя, иди к Георгию.

— Оставить тебя одну в такую ночь? Раз Георгий у меня, тебе нечего беспокоиться. И на этот раз все обошлось благополучно.

— Ну, пошли, только побыстрей, — сказала Люба, стараясь овладеть собой.

Они молча шли по бесконечной улице. Стефан то и дело оборачивался, но сзади не было ни души. У Ополченской Люба подала своему спутнику руку:

— Спокойной ночи! Привет Георгию. К нам не приходи — вокруг нашего дома вечно околачиваются шпики. Спасибо тебе, Стефан! Когда я вижу, какие у моего Георгия друзья, у меня на душе становится спокойнее. А ведь они могли убить тебя!

— Могли. Но я опередил их. Ради такого человека, как Георгий, и жизнью пожертвовать не жалко. Ты иди, а я постою, пока ты войдешь в дом. В случае чего — я мигом подоспею.

— Ради такого человека… — прошептала Люба Димитрова, войдя к себе в комнату и засмотревшись на портрет мужа.

Потом улыбнулась и потушила свет.

В ДЫМНОМ ШАХТЕРСКОМ ГОРОДЕ

— Алло, кто у телефона?

— Комендант Перника. А кто спрашивает?

— Военный министр.

Комендант вскочил со стула.

— Слушаю, господин министр!

— Что у вас там происходит?

— Ничего особенного, господин министр!

— Как так ничего особенного? А что случилось с вашим гарнизоном?

— Его обезоружили.

— Кто?

— Шахтеры.

— А вас, случайно, не раздели донага?

Воцаряется молчание. Комендант не знает, что ответить, обливается по́том.

Министр требует:

— Доложите, как все это произошло!

— Господин министр, вчера, узнав, что в Перник приезжает Димитров, я лично повел две роты, чтобы арестовать его, как только он сойдет с поезда. Но на вокзале его поджидало человек пятьсот-шестьсот шахтеров.

— Они не были вооружены?

— Так точно, не были.

— Продолжайте.

— Я спросил их вожака Темелко Ненкова: «Зачем пришли сюда ваши люди?», а он мне: «А ваши?» — «Мы, — говорю я ему, — выполняем приказ!» — «И мы выполняем приказ», — отвечает мне бунтовщик. — «Ах, так?» — «Именно так!» — Тут меня взорвало, и я решил разогнать их силой. Скомандовал солдатам: «Роты, смирно! К бою приготовься!» Но ни один из солдат не поднял винтовки. Хуже того, господин министр: они смотрели на меня так, будто с неба свалились, будто я говорил с ними на непонятном языке. Тут шахтеры громко запели «Интернационал».

— Ну, а вы?

— Я снова попытался двинуть солдат, но шахтеры закричали: «Солдаты! Товарищи, братья! Не выполняйте приказ вашего командира. Идите с нами!» А один из них растолкал собравшихся, вышел вперед и как закричит:

— Кто посмеет посягнуть на шахтера! Бросай ружья!

— И обе ваши роты передали оружие взбунтовавшейся толпе?

— Так точно, господин…

— А вы, что сделали вы, их командир!

— Я… я… был вынужден отступить.

— Отступить?.. Да вы просто драпанули на глазах у врага! Вы дезертир! Шахтеры обезоруживают ваших солдат, а вы удираете, точно заяц… Да знаете ли вы, что вас ждет?

— Так точно, знаю…

— Ну, а дальше. Что случилось дальше?

— Прибыл софийский поезд. Из первого вагона выскочил тот, арестант. Увидев его, шахтеры от радости посходили с ума. Обнимают его, кричат ура!

— А ваши обезоруженные «герои»?

— Кричали громче всех. Потом понесли его на руках в город.

— Где сейчас находится Димитров?

— На площади, господин министр.

— Что он там делает?

— Произносит речь на митинге. Собралась огромная толпа шахтеров, жителей города и солдат.

— Каких солдат?

— Тех, что работают на шахтах.

— Так это же настоящий бунт! Генерал Кретьен, как узнает об этом, намылит нам шею! Немедленно разогнать митинг и доставить мне оратора.

— Не могу, господин министр, у меня нет солдат!

— Не можете!.. Как вы смеете так отвечать? Негодяй!

Министр яростно швырнул трубку телефона и нажал белую кнопку звонка.

Через два часа от Софийского вокзала отошли три эшелона — с пехотой, кавалерией и орудиями. Тяжело пыхтя, паровозы поволокли вагоны к Горна-Бане.

*

— Собирайся, пойдем вместе на митинг! — обратился пожилой шахтер к своему товарищу, солдату, который возился у обледенелой колонки, тщетно пытаясь открыть кран, чтобы вымыть черные от угля руки.

— Ступай один. Посмотри, на кого я похож! Увидят — смеяться будут.

Шахтер оглядел товарища с головы до ног. Вид у того был неказистый: фуражка без козырька, кокарда болтается на одной нитке, не шинель, а лохмотья, вместо ремня — веревочка, сапоги ощерились — подметки отваливаются. Рубит уголь до потери

сознания, а получает миску вареной пшеницы, спит на голой земле в дощатом бараке. А тут еще и воды нет, руки нечем вымыть.

— Идем, брат, послушаем своего человека.

— Словами сыт не будешь. Мне бы хлеба буханку, отломал бы вот такую краюху, посыпал красным перцем с солью…

— Пойдем, не пожалеешь! Наши его с вокзала на руках несли.

— Что же это за человек?

— Коммунист. Три дня тому назад вышел из тюрьмы. Три года получил, да только пришлось тюремщикам выпустить его, поняли, что несдобровать им.

— За что же его посадили?

— Намылил шею одному вашему полковнику. Тот, подумай только, позволил себе на глазах у Георгия Димитрова выгнать раненого солдата из пассажирского вагона! Мол, куда лезешь: пассажирские вагоны — для офицеров, а вам и товарных хватит!

— Так это, значит, Георгий Димитров приехал? Что же ты мне сразу не сказал, что он будет говорить!

Солдат засуетился, затянул веревку, которой был подпоясан, и зашагал со старым шахтером к площади. Площадь была битком набита народом. Притихшее людское море. Оратор — высокий, стройный человек, с изнуренным лицом и пышной шевелюрой, — что-то говорил, размахивая руками. Опоздавшие шахтеры ничего не слышали, так как зимний ветер уносил его слова куда-то вниз, к реке. Они попытались было пробиться сквозь толпу к столу, на котором стоял Димитров, но из этого ничего не получилось.

— Ничего не слышу. У меня барабанная перепонка лопнула — мина разорвалась рядом со мной, чуть не убила. Там, у излучины Черной реки. А ты, Сотир, залез бы на забор — оттуда и слышнее, и виднее. А потом расскажешь обо всем.

Солдат подбежал к кирпичному забору и ловко забрался на его покрытый двумя рядами черепицы, запорошенный снегом гребень. Засунув палец под веревку, заменявшую ему ремень, он выставил вперед ногу, выпятил грудь, словно позируя перед фотоаппаратом, и навострил уши.

— …Я выхожу из мрачной тюремной камеры окрыленным, потому что у нас на глазах совершается величайший в истории перелом. Буря Великой Октябрьской революции смела насквозь прогнивший строй русских царей и помещиков, с рук миллионов обездоленных людей упали путы векового рабства. Заря, занимающаяся на Востоке, заливает потоками света всю Европу. Ее лучи озарили и нас. Товарищи, приближается день нашего освобождения!

Что же происходит в эти знаменательные дни здесь, на шахтах? Шахтеры голодают, а преступники, усеявшие Македонию могилами, не знают, куда девать свои деньги, открывают новые банки, чтобы продолжать грабить народ. Столица мерзнет, оккупанты валят заборы и жгут их, чтобы согреться, а шахтеры бегут с шахт, потому что работать на голодный желудок им невмоготу. Почему пригнали сюда молодых солдат, мучают их, заставляют заниматься не своим делом — рубить уголь? Потому что без перникского черного золота перестанут дымить трубы фабрик и заводов, остановятся поезда, закроются правительственные учреждения! Мы говорим тем, кто стоит у власти: накормите народ, дайте ему кров и культуру, не мучьте детей — тогда и угля будет вдоволь!

— Правильно! Верно! — загремела площадь.

Сотир, забыв, где он находится, начал аплодировать, покачнулся и, раскинув руки, свалился с забора в сугроб.

*

На перникский вокзал прибыли эшелоны с орудиями и солдатами. Из вагонов повыскакивали солдаты, кавалеристы вывели лошадей, артиллеристы выкатили орудия и направили их грозные жерла на окутанный дымом шахтерский город. Хмурые шахтеры разошлись по баракам, заперев ворота на засов, попрятались в домах горожане. Зловещая тишина воцарилась над городом. Были слышны только топот кованых сапог да цокот копыт. Блеск штыков нагонял страх на тех, кто пытался сквозь замерзшие стекла разглядеть, что творилось на улице.

Арестованного Димитрова отвели на вокзал под охраной целого эскадрона кавалеристов. Эскадронный ехал с обнаженной саблей и озирался по сторонам. Он знал, что перникские шахтеры готовы броситься в огонь ради этого опасного человека, который в пальто с поднятым воротником и в рабочей кепке спокойно шагал впереди конвоя. А дежурный телеграфист лихорадочно выстукивал точки и тире, сообщая в столицу, что Димитров снова арестован. Всколыхнулась рабочая София. Мгновенно опустели партийные клубы, занятия кружков были отменены. Ночная смена железнодорожного завода бросила работу, вышли на улицу и печатники, закрылись мастерские ремесленников, опустели похожие на собачьи конуры клетушки сапожников. Бульвар Марии-Луизы залили толпы народа. Жестокая зима встретила неудержимый человеческий поток ледяным ветром.

Жители рабочего пригорода Надежда, которые толпились на

трамвайном мосту через железную дорогу, ожидали увидеть три пары огненных глаз, три эшелона, идущих из Перника. Но, к их удивлению, под мостом промчался лишь один паровоз, весь облепленный солдатами. На этом паровозе привезли Георгия Димитрова. На перроне солдаты окружили его плотным кольцом и повели к выходу. Но на привокзальной площади их встретила разбушевавшаяся людская стихия. Гул сотен голосов разорвал вечерние сумерки:

— Куда вы его ведете?

— Он только вчера вышел из тюрьмы!

— Пустите защитника народа!

— Освободите его!

— У-у-у-у! — прокатился над площадью угрожающий гул, похожий на вой разгулявшейся вьюги.

Димитров обвел взглядом огромную толпу людей, улыбнулся и снял кепку.

— Назад! — крикнули конвоиры и направили винтовки на толпу. Но никто не сдвинулся с места. Французские солдаты, патрулировавшие у вокзала, с изумлением наблюдали за тем, что происходит.

— Кого встречаете? — спросил один из них на ломаном болгарском языке.

— Георгия Димитрова, — ответило несколько голосов.

— Кто он такой?

— Большевик!

Французские солдаты переглянулись между собой, обменялись несколькими словами и поднялись на цыпочки, чтобы лучше видеть. Один из них юркнул в толпу, добрался до конвоиров и начал кричать:

— Vive les Soviets!

— Что кричит этот француз? — спросил командир конвоя.

— Требует, чтобы вы освободили арестованного!

— Кто здесь приказывает? — рявкнул командир.

— Народ! — ответили ему из передних рядов.

— Народ! — подхватила вся площадь.

В этот вечер героический народ вырвал своего любимого вождя из рук полиции. Допоздна гремели на улицах революционные песни.

Когда командующий оккупационными войсками генерал Кретьен узнал о большом митинге в Пернике и об участии его солдат в освобождении вождя коммунистов, он пришел в бешенство и немедленно распорядился прекратить освобождение болгарских военнопленных из Первой дивизии.

Димитров вернулся домой после полуночи, сел к огню и

долго грел замерзшие руки. Сестры смотрели на него с восхищением: вот какой у них брат! Весь город встал на его защиту. Бабушка Парашкева журила его:

— И когда ты, наконец, угомонишься, сынок. Ведь только вчера из тюрьмы вышел. Сидел бы дома, в тепле. Больше никуда я тебя не пущу, слышишь? Обещай, что не будешь выходить из дома!

Георгий шутливо ответил:

— Ладно, мама, обещаю до утра никуда не выходить.

ЕСТЬ ТАКАЯ СТРАНА

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Василий Лебедев-Кумач

Следователь военно-полевого суда закрыл папку, которую прислал ему прокурор, и нажал кнопку звонка. Дверь приотворилась, и в кабинет заглянула наголо остриженная солдатская голова.

— Немедленно вызови Дамаджанова!

— Слушаюсь, — отрывисто ответил дежурный и побежал вниз по лестнице, топая коваными сапогами.

Следователь вздохнул, встал со стула и начал застегивать китель. Тут дверь распахнулась, и на пороге появился Дамаджанов. Он был под мухой — из деревни ему прислали солидную бутыль с вином, и он уже успел приложиться к ней. Дамаджанов сделал шаг вперед, пошатнулся, щелкнул каблуками и пробормотал что-то несвязное.

— Ну как, арестовали? — спросил следователь, делая вид, что не замечает состояния караульного.

— Никак нет!

— Почему?

— Опять улизнул.

— Что, его не было в Народном собрании?

— Никак нет — был, и мы поджидали его у выхода. Я даже приказал Вуте заглянуть в зал. Он доложил, что Димитров стоит посередине зала, руками размахивает, ругает главного.

— Премьер-министра?

— Так точно.

— Чего это он разошелся?

— Мол, тот опорожнил сейфы Народного банка, отдал все золото американцам за несколько вагонов пшеницы. Не благодарить же, говорит, его за то, что залез в чужой карман и вытащил кошелек. А это правда, господин капитан?

— Не твоего ума дело. Ты должен был арестовать его и доставить сюда. Как вы могли упустить его?

— Не нашли. Когда депутаты выходили из Народного собрания, мы стояли у самых дверей. Другие вышли, а его не было…

— Подумай только, что ты плетешь. Сам ведь говоришь, что он был в зале и ругал премьер-министра?

— Так точно, ругал.

— Значит, он был там.

Караульный окончательно сбился с толку.

— Эх, Дамаджанов, Дамаджанов, опять ты нализался! Смотри — как бы не пришлось мне посадить тебя как раз накануне Нового года. — Следователь затянул потуже ремень. — Второго января, утром, Димитров должен быть здесь. Арестуешь его сегодня ночью! Окружишь дом, где он живет. Завтра Новый год. Меня здесь не будет. Я тоже человек и имею право встретить праздник. Карты достал?

— Так точно, достал! — ухмыльнулся Дамаджанов и вытащил колоду карт. — Вот, пожалуйста! А какое вино я получил! Послать вам на дом?

— Что за вопрос?

Выходя из кабинета, Дамаджанов споткнулся о порог, охнул и вытер рукавом вспотевший лоб.

*

В тот невеселый вечер, накануне Нового года, Георгий Димитров покинул Народное собрание до окончания заседания. Никто не остановил его, так как Дамаджанов со своими стражниками кутил в ближайшем кабачке «Хромой пес». Шел снег. Покачивались и тихо шумели верхушки тополей на широком бульваре. Как рой пчел, кружились вокруг тусклых уличных фонарей снежинки. Димитров свернул в полутемную улочку и остановился перед домом, в котором жил врач Нено… Стараясь не шуметь, отряхнул с себя снег и ощупью, так как на лестнице не было света, быстро поднялся на четвертый этаж. Вытащил из кармана ключ и открыл дверь.

— Входи, входи! — улыбаясь, встретил его хозяин. — Давно жду тебя.

— Сегодня я собирался заглянуть домой, — ответил гость, снимая пальто.

— Об этом и речи быть не может. Товарищи предупредили, что полицейские ходят за тобой по пятам. Собираются предъявить тебе новое обвинение — за выступление в Пернике. Присаживайся. Поговорим, выспимся. Я достал бутылочку французского коньяка. Большие события происходят в Москве. Непременно нужно выпить. Подожди меня минутку! — и хозяин вышел из комнаты.

Димитров подошел к окну. На улице все побелело — земля, деревья, крыши домов. Снегом покрыло и купола бывшей тюрьмы

«Черная мечеть». Где-то вдали раздались ружейные выстрелы — один, два, три. Димитров вспомнил детские годы, вспомнил, как в новогоднюю ночь ребятишки стреляли из самодельных «пушек». Он тоже сделал себе такую «пушку». Привязал проволокой к колышку гильзу от старого патрона, набил ее порохом и воткнул колышек в землю. Потом побежал домой за угольком, чтобы поджечь им порох, но тут мать заметила, чем он занимается.

— Что это ты мастеришь, сынок? — спросила она.

— Пушку, — ответил Георгий.

— И в кого же ты собираешься стрелять?

— Знаю, в кого, — ответил мальчик.

— А ну-ка, брось эту пушку. Того и гляди, без глаз или без пальцев останешься. С порохом шутки плохи!

Но Георгий не отказался от своей затеи. Он выждал удобный момент и, когда матери не было во дворе, поджег порох и выпалил из «пушки». Он выстрелил в сторону «Черной мечети», потому что летом видел, как двое полицейских вели туда арестованного со связанными за спиной руками. Услышав выстрел, мать выбежала из дому и схватила сына. Но она не стала бранить его, а только крепко прижала к груди.

— Всю жизнь я борюсь с несправедливостью старого мира! — прошептал Димитров. Он тихо барабанил пальцами по стеклу и с болью в сердце думал о дорогих ему людях, которые в этот вечер собрались в отцовском доме на улице Ополченской и вспоминают о нем. Ему захотелось увидеть их.

В комнату вошел доктор и со стуком поставил на стол бутылку.

— Нено, друг, — повернулся к нему Димитров. — Я очень благодарен тебе за гостеприимный, надежный кров. Но что-то тяжело мне сегодня. Ты уж извини, но мне придется оставить тебя одного.

— Куда ты собрался?

— Я уже сказал — домой.

— Прямо волку в пасть! Ведь у вашего дома тебя поджидают шпики.

— А если я надену твою военную форму… Как ты думаешь: решатся они остановить полковника?

Доктор задумался.

— Нет, думаю, что не посмеют. Ну что ж, делай как знаешь. Впрочем, когда ты вернешься?

— Когда загрохочут пушки, я буду уже здесь.

— Хорошо, я подожду тебя.

Минут через десять из дома вышел стройный чернобородый офицер и энергично зашагал по улице.

Дойдя до квартала «Три колодца», офицер свернул направо и вскоре подошел к дому бабушки Парашкевы. Остановился, оглянулся. По другую сторону улицы, за деревьями, прятались двое солдат с винтовками за плечами.

— Рядовой! — позвал офицер одного из них и поманил его пальцем. — Иди-ка сюда!

Солдат подбежал к нему и вытянулся в струнку.

— Что вы тут делаете?

— Ждем, господин полковник!

— Я знаю, кого вы ждете. Он дома?

— Никак нет.

— А где же ваш командир?

— Дамаджанов? Он… он… вон в том кабачке. Пошел погреться… Уж больно холодно сегодня. Позвать его?

— Нет, не нужно. Я зайду в дом, чтобы узнать, где тот человек, которого вы ищете. А вы подождите меня здесь.

— Так точно, подождем!

Полковник сделал два-три шага к калитке и, не оборачиваясь, приказал:

— И не заглядывать через забор! Разве так подстерегают человека, которого нужно арестовать. Спрячьтесь где-нибудь! Лучше всего ступайте в сквер!

— Слушаю, — хором ответили солдаты и, пошептавшись о чем-то, отправились в… кабак.

Полковник вошел во двор и осторожно закрыл за собой калитку. Во дворе было тихо, снег приглушал шум шагов, и лишь за колодцем поскрипывали шелковицы. Димитров обогнул дом и по задней лестнице быстро поднялся к жене, к Любе.

Увидев его, молодая женщина вскрикнула и замерла на месте. У нее подкосились ноги, на глазах выступили слезы. Димитров нежно погладил ее по голове.

— Слезы? Слезы в твоих мужественных глазах? Неужели ты не рада, что видишь меня?

— Ах, — вздохнула Люба. — Конечно, я очень рада. Я знала, что ты придешь. Сердце мне подсказало, что сегодня ты будешь дома, но…

— Что-нибудь случилось?

— Нет, но слишком много пришлось мне пережить. Столько месяцев ты был в тюрьме. И если бы ты знал, как я боялась за тебя, как я тебя ждала! Теперь ты на свободе, нас не разлучает решетка, и все равно я неспокойна. Каждый раз, как услышу шаги, выглядываю в окошко, но вижу одни лишь противные морды полицейских, которые поджидают тебя.

Вытерев платочком слезы, Любица Ивошевич робко

улыбнулась и добавила:

— Минутная слабость. Теперь — все в порядке.

Димитров вытащил из кармана конверт и подал его жене:

— Спрячь это, пожалуйста.

Любица молча присела на корточки перед умывальником, отвинтила крышку тайника и спрятала конверт. Димитров обвел взглядом свой кабинет: на полу чипровский ковер, шкаф с любимыми книгами, небольшой письменный стол, а на нем настольная лампа с зеленым абажуром, телефон, зажигалка. Взгляд его задержался на миниатюрном рельефе Гете, окруженном лавровым венком. Любица привезла ему этот рельеф из Вены вместе с томиком стихов великого поэта. Много раз по ночам, после митингов и собраний, они читали в подлиннике произведения Гете.

Когда Любица поднялась, Димитров сказал:

— Я похож на странника, за которым гонится волчья стая. Лишь у тебя я нахожу душевное успокоение. Мне хочется сказать, Любушка, что я очень, очень тебе благодарен за все — за заботу, за преданность, за неустанный труд… Я должен попросить у тебя прощения за те страдания, которые, сам того не желая, я причиняю тебе. Но ты сама понимаешь, что я служу большому делу и не могу быть другим, потому что…

Любица приложила палец к его губам.

— Ничего не говори, — сказала она, — я счастлива, что могу быть твоим товарищем, и мне больше ничего не надо.

— Тогда пойдем к маме!

Они вошли в кухню. Там было тепло и многолюдно. Собралась вся семья: мать, Магда, Лена, Тодор. Все с удивлением смотрели на старшего брата.

— Дядя! — крикнул маленький мальчик и, подбежав к Димитрову, потянул его за штанину.

Димитров взял его под мышки и поднял высоко над головой.

Увидев сына, бабушка Парашкева чуть не выпустила из рук кастрюлю с голубцами, которую она только что сняла с огня.

— Ну и напугал же ты меня, сынок! Как ты пришел сюда? Разве стражники не остановили тебя?

— Когда я надумаю что-нибудь сделать, меня, мама, никто не в состоянии остановить, — ответил сын и сел на подушку у низкого круглого столика, на которую когда-то садился отец. Остальные, подогнув под себя ноги, устроились прямо на домотканом коврике.

Ровно в полночь раздались орудийные залпы, и стекла задребезжали.

— Новый год. Пушки стреляют! — сказал Тодор. — Сейчас

царские министры и генералы поднимают бокалы и спешат «утопить в вине свои тревоги».

Димитров вскочил на ноги. Глаза его заблестели.

— Есть такая страна, — громко произнес он, — где в этот час орудия приветствуют своими залпами восходящую пятиконечную звезду. Пусть Новый, 1919 год принесет много счастья и успеха советскому народу и всем людям, которые борются за коммунизм!

Наклонившись через стол, он взял сморщенную руку матери и горячо поцеловал ее.

БЕРЕГИТЕ ДИМИТРОВА!

По решению авангарда человечества, борющегося против капитала, — Третьего Коммунистического Интернационала, завтра пролетариат продемонстрирует свою готовность поддержать до конца и на деле рабоче-крестьянскую красноармейскую Россию. 7 ноября над государственными границами, горами, океанами и морями пронесется мощный клич народов: все на поддержку Советской России!

Газета «Работнически вестник», 6 ноября 1920 г.

На площади у Львиного моста шел митинг. Сотни людей стеклись сюда со всех концов столицы, чтобы приветствовать звезду Октябрьской революции. Над человеческим морем гремел голос оратора.

Стоя на столе, покрытом красным сукном, величественный и внушительный, руководитель бурной забастовки железнодорожников, любимый народный трибун клеймил позором озверелого классового врага, и рабочие, затаив дыхание, ловили каждое его слово. В воздухе кружился снег, засыпая людей, крыши домов, спины бронзовых львов, сидевших с поджатыми хвостами на каменных постаментах моста. Какой-то носильщик в галошах на босу ногу, с веревкой, перекинутой через плечо, точно генеральские аксельбанты, сидел верхом на одном из львов и, держась за гриву, выкрикивал хриплым, простуженным голосом:

— Долой капитал!

На мосту толпилось около сотни полицейских в синей форме, с винтовками в руках. Хмурые, ощетинившиеся, они молча слушали оратора. Их начальник нервно кусал нижнюю губу, рука, сжимавшая нагайку, дрожала. Время от времени он кидал исподлобья злые взгляды на носильщика, но не решался стащить его со спины льва.

— Товарищи, — говорил Димитров, — мы только что получили письмо от Центрального Комитета Коммунистической

партии Венгрии. Венгерские братья пишут нам, что у них пролетарский великан повергнут наземь. Разбойничий класс господ накинул петлю на шею смелым борцам против капитализма. Земля Венгрии залита кровью. Палачи венгерского народа насилуют женщин, распарывают им животы саблями, вбивают своим жертвам гвозди под ногти, выкалывают глаза тем, кто смотрит вперед, в будущее, хоронят заживо достойнейших сынов народа. Венгерская революция гибнет, ее последний завет: берегите как зеницу ока великую русскую революцию! Помогите русскому пролетариату! Действуйте! Действуйте! Действуйте!

— Долой убийц! — крикнул со спины льва носильщик.

Вожак своры полицейских не выдержал, бросился к постаменту, схватил негодовавшего пролетария за ногу и стал стаскивать его со спины льва.

— Слезай! — заорал он.

— Не тронь, не то свалюсь тебе на голову! — огрызнулся носильщик и, высвободив ногу, попытался лягнуть полицейского.

— Товарищи, полиция нападает! — раздался чей-то встревоженный голос.

Митинг забурлил, словно кипящий котел. К мосту покатилась людская волна.

— Держи эту сволочь! — кричал носильщик, размахивая над головой веревкой, точно собирался заарканить вооруженных наемников капитала и перевешать их на уличных фонарях.

Полицейские начали пятиться задом, все правое крыло митинга неудержимо хлынуло за ними.

— Стойте, товарищи! Всем оставаться на местах! — раздались повелительные крики членов красной милиции.

Рабочие неохотно повиновались.

Митинг уже подходил к концу, когда на широком бульваре, где ветер крутил снежные вихри, появились силуэты конников. Подскакав к мосту, ехавший впереди офицер натянул повод, и конь встал на дыбы. Всадник выхватил шашку и, подняв ее над головой, протяжно скомандовал:

— Разойтись по домам!

Никто не сдвинулся с места. На площади воцарилось гробовое молчание, нарушаемое лишь фырканьем лошадей.

— Шашки наголо! — раздалась новая команда, сливаясь с громким возгласом Димитрова, прокатившимся над площадью:

— Да здравствует Великая Октябрьская революция!

Грозно лязгнули обнаженные клинки. Грянуло несколько винтовочных выстрелов. Их треск заглушил последние слова оратора. Солдаты пришпорили коней, врезались в толпу и стали давить рабочих.

— Берегите Димитрова! — крикнул кто-то, но волнующееся людское море уже поглотило оратора. Полицейские и солдаты неистовствовали, избивая народ прикладами и нагайками. Георгий Димитров быстро прошел по мосту, свернул в переулок, обсаженный молодыми тополями, и, не оглядываясь, прибавил шагу. Миновав улицу Попа Богомила, он зашагал по Веслец. Где-то позади послышался цокот копыт. Димитров остановился у ржавой железной калитки, толкнул ее и вошел во двор. Слева стояла засыпанная снегом вишня с обвисшими ветвями, а в глубине двора был маленький приземистый домик с маленьким окошком, занавешенным тюлевой занавеской. Перед домом, на снегу, виднелось кровавое пятно. На пороге стоял маленький мальчик с обнаженной головой, в поношенной шубенке, и жевал кусок хлеба — черного, словно замешенного из грязи.

— Дядь, а мамка петуха зарезала, — задумчиво сказал малыш, когда нежданный гость подошел к нему.

— Где отец? — спросил Димитров.

— Там! — и мальчик показал пальцем в сторону моста.

Димитров потрепал его по щеке и прошел за дом. Он осторожно пробрался через заваленные кучами разного хлама задворки и подошел к высокой каменной ограде. Ухватившись обеими руками за нижнюю ветку старого дерева, ловко перемахнул через ограду и очутился во дворе дома профсоюзов. Оглянулся — вокруг ни души, на свежем снегу — ни одного отпечатка человеческих ног. Димитров направился к белому зданию. Толкнул дверь — она не была заперта на ключ. Поднялся по лестнице, вошел в комнату металлистов. Снял шляпу, отряхнул с нее снег, повесил на вешалку. Сел у стола, вытащил пачку сигарет, закурил и устремил взгляд в окно. На дворе ветер поднимал тучи снега, выл в ветвях обнаженных деревьев. Под окном покачивалось перекинутое через веревку потрепанное солдатское одеяло. «Министр внутренних дел решил, что стоит оцепить театр «Ренессанс», и коммунисты откажутся от празднования третьей годовщины Октябрьской революции, — подумал Димитров. — Но мы упрямые и легко не сдаемся».

Почитать бы что-нибудь… Он огляделся, но ничего не нашел. На столе лежал лишь последний номер «Рабочей газеты», весь изуродованный цензурой. Как тихо сегодня в доме профсоюзов! Не слышно ни голосов, ни топота ног на лестнице. Самая подходящая обстановка для работы. Димитров подтянул к себе стопку длинных обрезков газетной бумаги, взял ручку, обмакнул перо в чернила и стал писать. Прошел час, второй, третий. В комнате слышалось лишь легкое поскрипывание пера. За окном продолжали порхать снежинки.

К вечеру деревянная лестница заскрипела, и на пороге появился секретарь профсоюза металлистов Иван Делчев.

— Ты здесь, товарищ Димитров? Полиция всюду тебя ищет, всю Коневицу[5] вверх дном перевернула, а ты вон где!

— Здесь, Иван, я в самом безопасном месте, — сказал Димитров и положил ручку. — Но вот беда — страшно проголодался. Посоветуй, как мне отсюда выбраться и куда бы пойти?

— Я и сам не знаю, — ответил Иван Делчев, с восхищением глядя на Димитрова: настоящий Левский!

Димитров немного помолчал, подумал и быстро наметил план.

— Слушай, Иван, — сказал он, — сегодня Асен женится. Свадьбу справляет в Красном селе — напротив рассадника. Я приглашен. Почему бы нам вдвоем не поехать к нему?

— Что ж, можно поехать, — согласился Иван. — Только как это устроить? По улицам рыщут полицейские. А тебя с этой бородой сразу узнают…

— Бороду спрячем. Ты сходи в аптеку и купи бинт, да пошире. Потом на площади у бани найми извозчика и приезжай сюда.

Через полчаса перед домом профсоюзов остановился фаэтон. На козлах сидел извозчик в высокой лохматой шапке, надвинутой на лоб. Иван Делчев выскочил из фаэтона и побежал наверх к Димитрову.

— А теперь действуй. Забинтуй хорошенько бороду и уши. Вот так. Прикрой волосы над левым ухом, — давал наставления Димитров, рассматривая себя в маленькое карманное зеркальце.

— Куда изволите ехать? — обратился извозчик к перевязанному пассажиру, когда Димитров и Делчев устроились на сиденье под поднятым верхом.

— В Александровскую больницу!

Извозчик встрепенулся, узнав голос оратора, говорившего утром на митинге. Потом пристально посмотрел на Димитрова, улыбнулся и весело погнал лошадей.

На окраине города двое конных полицейских преградили путь фаэтону. Извозчик потянул поводья.

— Тпру-у-у! Чего надо? — спросил он полицейских.

— Кого везешь?

— Раненого, — спокойно ответил извозчик.

— Кто его ранил?

— Сербы, что вчера в Цариброд ворвались. Они с братом еле ноги унесли.

— Куда везешь?

— В больницу.

— Раз в больницу — проезжай!

Полицейские посторонились. Фаэтон поехал дальше. Димитров тронул извозчика за плечо. Тот обернулся:

— Что, товарищ Димитров?

— Узнал меня, черт! — шепнул Димитров Ивану Делчеву. Потом громко сказал: — Давай сначала к больнице, а оттуда — прямо к рассаднику!

Жених встретил дорогого гостя с распростертыми объятиями.

— Вином угостишь? — спросил Георгий Димитров.

— И вином угощу, и курочкой, и пирогом! Спасибо, товарищи, что пришли.

— А я ничего не привез тебе… — стал оправдываться Димитров, но Асен Бояджиев прервал его:

— Да что ты! Я так рад, что сегодня ты приехал ко мне.

Димитров снял с головы повязку, пригладил волосы и вошел в комнату к веселившимся гостям. Старые коммунисты встали со своих мест, чтобы поздороваться с ним.

НЕУСТРАШИМЫЙ

Он тенью незримой бродил меж домами,
Бывал он и на посиделках, и в храме,
Без шума войдет и уйдет без следа…

Иван Вазов

Последними в зал заседаний Софийского муниципального совета вошли председатель совета Калинков и его заместитель Папазов. Толстошеий избранник банкиров, промышленников и домовладельцев Папазов устроился в кресле председательствующего, а Калинков — по правую руку от него. Сегодня он не собирался руководить заседанием. За двумя длинными столами, покрытыми зеленым сукном, уже сидели члены муниципального совета. Коммунисты — их было семь человек — занимали место по левую сторону от председательского стола. У них за спиной, на сколоченных наспех деревянных скамьях, тесно жались друг к другу жители столицы, пришедшие сюда, чтобы послушать, что происходит в муниципальном совете. В коридоре толпились, шумели и ломились в дверь те, для кого не оказалось места в зале. Председательствующий нажал кнопку электрического звонка. Маленькая дверь за его спиной моментально открылась, из-за нее угодливо выглянул секретарь совета.

— Что прикажете?

— Принеси бюджет и вели стенографам идти. Да скажи полицейским, чтобы больше никого не пропускали. Что это за нашествие гуннов? Здесь не ярмарочный балаган!

— Я хочу войти! — сказал появившийся в дверях рослый грузчик с добродушным лицом и синими глазами. Над левой бровью у него виднелся глубокий шрам, через плечо перекинута веревка.

— Эй, ты там!.. Куда лезешь? Не видишь, что нет места? — рявкнул председательствующий.

— Впустите меня!

— Кому это ты здесь понадобился? Что будешь делать в зале?

— Слушать.

— Бюджет муниципалитета — не твоего ума дело. Вон отсюда, или я прикажу связать тебя твоей же веревкой! Георгий

Димитров пригнал сюда весь свой сброд из Коневицы.

— Господин заместитель председателя, прошу не оскорблять народ! — одернул его депутат-коммунист Васил Мулетаров.

— Вся Коневица здесь, в муниципалитете, а ее главаря нет. Уже несколько недель не появлялся. Мы из кожи вон лезем, о людских делах печемся, а он боится заглянуть сюда. Почему он не приходит, я вас спрашиваю?

— Не приходит потому, что министр внутренних дел натравил на него шпиков. Вы прекрасно знаете, что есть приказ об его аресте, — ответил ему самый молодой депутат Тодор Данаилов.

— Приказ, приказ… Ну и что ж? Болгарская полиция не ест людей. Мы здесь ставим на обсуждение бюджет столицы — это же миллионы, не шутка, а депутат Георгий Димитров точно сквозь землю провалился. Трусит, значит! Мы хотим услышать его выступление здесь, за зеленым столом, а не на митингах и не в «Рабочей газете». Где Георгий Димитров?

В этот момент шум в коридоре разом стих, дверь открылась, и перед депутатами предстал Георгий Димитров, в белой рубашке с отложным воротником, с подстриженной бородой цвета воронова крыла. Непокорные черные кудри обрамляли его высокий лоб.

— Я здесь! — сказал он, помахал в знак приветствия шляпой, улыбнулся и направился к депутатам-коммунистам.

Буржуазные депутаты оторопело смотрели на него. Вслед за Димитровым в зал пробрался и грузчик с веревкой. Он крякнул, осмотрелся.

— Пролез-таки! — сказал он сидевшим на скамьях людям, и на его губах заиграла победоносная улыбка.

На какой-то момент Папазов лишился дара речи. Потом, не оборачиваясь, взял из рук секретаря тяжелую папку с бюджетом и наклонился к председателю. Раскрыв папку, заслонил ею голову Калинкова и свою собственную, как это делают судьи, когда совещаются, и прошептал:

— На этот раз он не уйдет. Зови полицию!

— Сейчас нельзя — здесь полным-полно народу, не дадут. Пусть послушают — надоест им и станут расходиться, тогда и арестуем его.

— Но он может улизнуть.

— Как? Все выходы охраняются. Птице не вылететь отсюда.

— Выскочит из окна.

— Пусть попробует — окно открыто. Внизу ждут полицейские. Ты открывай заседание, а насчет остального положись на меня.

Георгий Димитров сел на свое место рядом с депутатом-коммунистом Ламби Кандевым.

— Приступаем к рассмотрению бюджета, — раздался голос толстого председательствующего. — Как известно, бюджет был возвращен…

Задремавший было старичок, что сидел возле председательствующего, встрепенулся и приставил ладонь к уху, чтобы лучше слышать, что стало с бюджетом…

— Кто просит слова? — обратился председательствующий прежде всего к своим единомышленникам, которые любили запускать руку в общественную казну и которым теперь как раз следовало бы пустить пыль в глаза людей. Но никто из них не поднял руки.

Тогда налитые кровью глаза толстошеего остановились на коммунистах.

— Пусть сначала выскажутся старые деятели, — заметил Мулетаров.

— Должен ли я считать, что никто не просит слова?

Тут встал Георгий Димитров.

— Я прошу слова! — сказал он, и по залу словно пробежал электрический ток. Димитров оперся руками о стол, посмотрел в сторону открытого окна, привел в порядок свои мысли. Они выстроились, как солдаты, готовые в любой момент броситься в атаку. Потом он посмотрел на председательствующего. Толстошеий с ненавистью встретил его взгляд, а Калинков, который собирался предать его полиции, отвел глаза и съежился в кресле.

Присутствовавшая в зале публика зашумела, но как только Георгий Димитров повернулся лицом к ней и его блестящие глаза встретились с глазами рабочих, сразу же притихла. Грузчик толкнул локтем своего соседа и, не поворачивая головы, сказал:

— Сейчас начнет. Я его знаю. На первомайской демонстрации вместе шли во главе колонны. Прокладывали путь другим. Полицейские на нас с винтовками, а мы на них с кулаками и все равно пробились. Он такой — ни в грош не ставит полицию.

— Кто это там разговаривает? — рявкнул председательствующий и нажал кнопку звонка. — Ты, с веревкой, или прекратишь разговоры, или я вышвырну тебя из зала!

— А ну-ка, попробуй! — ответил грузчик и добродушно улыбнулся.

— Господа члены муниципального совета! — Георгий Димитров поднял руку и этим положил конец пререканию между председательствующим и грузчиком.

Все взоры обратились к нему.

— Начнем с заработной платы двух с половиной тысяч служащих муниципалитета. Заработок у них нищенский. Нечего удивляться, если в один прекрасный день работники трамваев и городской электросети скажут: «Хватит с нас! Не хотим работать за гроши! А вы, господа члены муниципального совета, делайте, что хотите!»

— Правильно! — робко подтвердил один подметальщик, но, заметив, что толстошеий ищет его глазами, постарался спрятаться за широкой спиной грузчика.

Папазов опять нажал кнопку звонка. Дребезжащие тревожные звуки вырвались через открытое окно на улицу и заглохли в зелени ближайшего сквера. Снова воцарилась тишина. Слегка поскрипывали деревянные скамейки.

Димитров продолжал свою речь. Он рассказал слушателям о том, что представляет собой муниципалитет в городах и селах и во что хочет превратить его коммунистическая партия. Депутаты от буржуазных партий, приведших рабочий люд к полному обнищанию, с беспокойством слушали слова этого неукротимого человека. А он бил прямо в цель, без промаха.

Старичок, перед этим дремавший, сидел с опущенными веками, но мысль его лихорадочно работала: «В один прекрасный день этот Димитров поведет голытьбу на банки, и наши сейфы опустеют. Нужно отнять у Стамболийского бразды правления… Что это он несет?»

— …Расходы по содержанию муниципального аппарата должны лечь на плечи имущих классов. А трудящиеся массы нужно освободить от всяких налогов! — говорил Георгий Димитров.

«Погоди, как надену на тебя наручники и поведу в Дирекцию полиции, так увидишь, что значит облагать имущих налогами!» — думал Калинков, сверля его своими маленькими глазками.

— В Плевене, — обратился Димитров к сидящим на деревянных скамьях жителям столицы, — коммунистический совет решил обложить налогом всех состоятельных граждан. Тогда те потребовали референдума — чтобы народ высказался за или против. И стали раздавать подкупы. По триста левов давали тому, кто будет голосовать против коммунистов. Но народ нанес им сокрушительный удар. Имущий класс потерпел поражение.

Не забыл оратор и о новых квартирах, в которых обосновались вчерашние дельцы «черного рынка», поставщики армии, спекулянты.

— Софийским домовладельцам снятся кошмары: будто приходят большевики, отнимают у них дома, а их самих

прогоняют куда-то к цыганам на окраину. А цыгане с окраины переезжают в центр города и поселяются в квартирах Петко Тодорова, Калинкова, господина Гешева.

По спине дремавшего старичка пробежали мурашки. Он вскочил, поправил очки:

— Нельзя ли заткнуть ему рот? Как он смеет угрожать, что приведет цыган в мой дом?

— Пока что мы не собираемся приступать к таким действиям, — прервал его Димитров. — От болгарской буржуазии мы требуем сейчас одного — чтобы она пошла на небольшую уступку. Но она, буржуазия, такая твердолобая, что без увесистой дубинки с ней не сладить. Депутат Петко Тодоров угрожает мне: вы, говорит, установите налог на имущество, доходы и капитал богатеев, но они убегут, переправятся туда, где нет коммун, махнут за границу. Ну и пусть! Такой поступок будет прекрасным доказательством их патриотизма.

— Пускай убираются к чертям! — крикнул грузчик, и глаза его засверкали.

— Полицейский, выведи из зала этого типа! — крикнул в свою очередь председательствующий, но никто не откликнулся на его приказание.

Папазов в недоумении взглянул на Калинкова. Тот нажал кнопку позади себя, но и на этот раз никто не показался в дверях.

— Слушая этих людей, глядя на их крокодиловы слезы, — продолжал Димитров, — можно подумать, что они вот-вот испустят дух. Их собственность лежит тяжелым бременем на их же плечах. Но, господа, коммунистическая партия готова помочь им, освободить их от тяжелого бремени собственности. Мы конфискуем их богатства, и у них больше не будет причины покидать свою родину. А завтра… мы им предложим засучить рукава и поработать.

И, повернувшись лицом к председательствующему, отчеканивая каждое слово, Димитров произнес:

— Предложим вам поработать. Все в нашей стране должны добывать себе кусок хлеба полезным трудом.

В зале наступило оживление, люди на скамейках зашептались, председательствующий опять нажал кнопку звонка.

— В казино, — властный голос Димитрова перекрыл общий шум, — собрались человек сто домовладельцев, чтобы протестовать. Против кого? Против депутатов-коммунистов. Почему? — в глазах его сверкнули молнии. — Потому что мы хотим взять деньги у богатых и вымостить улицы на окраинах, построить школы и больницы, потому что мы хотим выделить на строительство жилищ для бездомных 60 миллионов.

Грузчик захлопал в ладоши. Его примеру последовали остальные рабочие.

— Кто там хлопает? — возмутился толстошеий. — Где вы находитесь? Это вам не цирк!

— Вы хотите разорить тех, кто, благодаря честности и бережливости, сумел скопить немного денег. Вы проповедуете грабеж! — перебил оратора один из депутатов-банкиров и засмотрелся на крупный бриллиант, украшавший его золотой перстень.

Георгий Димитров не остался в долгу перед ним.

— Мы хотим положить конец сорокалетней практике, в результате которой горсть господ наживает состояние за счет муниципалитета, а все расходы взваливаются на плечи трудового народа.

— Вам будет приятно, если у вас отнимут часы? — ехидно спросил депутат с бриллиантовым перстнем на руке.

— Здесь речь идет не о моих часах и не о вашем золотом перстне. Я говорю о налогах на капитал, на доходы и на недвижимое имущество. Вот чего требует наша коммунистическая партия!

— Так его, товарищ Димитров! — одобрительно заметил грузчик.

— В партии коммунистов собрался всякий сброд, уголовники! — истерически взвизгнул Калинков.

— У нашей партии свыше сорока тысяч членов. В их среду могут проникнуть и подозрительные элементы. Но стоит нам обнаружить таковых, мы немедленно выбрасываем их из партии. А что делаете вы? Как увидите, что кто-то присвоил себе несколько миллионов, сразу признаете за ним большие способности и делаете его государственным деятелем.

В зале вспыхнул смех. Грузчик опять зааплодировал. Толстошеий побагровел. Председатель муниципалитета вскочил со своего места. Он решил одним ударом разделаться с Георгием Димитровым. Опять раздался его визгливый голос:

— Леса полны разбойничьих шаек, и их главари — все без исключения коммунисты! Вы засылаете их!

Но Димитров уничтожил его:

— Настоящие разбойники не в лесах, а в кабинетах, конторах, банках!

На скамейках одобрительно зашумели. Грузчик, всплеснув руками, расхохотался.

Папазов мрачно взглянул на председателя. Тот опустился в кресло, посидел с минуту, потом опять вскочил, замахал кулаками.

— Перестань же наконец! — крикнул ему депутат, которого избрали в муниципалитет официанты и повара столичных ресторанов. — Не желаем тебя слушать! Слово было предоставлено товарищу Димитрову!

— Я… я… не допущу, чтобы какой-то официант… — в бессильной злобе выкрикнул председатель и запнулся.

— Да, я официант, но у меня хватит ума как следует ответить такому председателю, как ты! — отпарировал депутат.

— Столь недалекому председателю! — добавил Мулетаров.

— Я… не нуждаюсь в советах того, кто подносит пиво и кому я давал чаевые!

Тут в спор вмешался Георгий Димитров:

— В том, что кто-то из наших товарищей — официант, нет ничего унизительного. Я горжусь, что в столичном муниципалитете есть официанты. И должен вам сказать, что, когда ваше место займет этот официант или другой вроде него, вся София будет гордиться, что у нее такой председатель!

От восторга публика затопала ногами.

— В заключение я вам скажу вот что: спасение Болгарии, Балканского полуострова, всего мира — в коммунистической революции, которая приближается! Кто не видит этого, тот страдает куриной слепотой!

Голос его прогремел над головами собравшихся в зале людей, вырвался через окно на улицу, полетел над залитым лучами заходящего солнца городом.

Председательствующий повернулся к Калинкову и процедил сквозь зубы:

— Чего ждешь? Зови полицию! Разве не видишь, что он кончил говорить? Нужно связать руки, заткнуть глотку этому…

Калинков встал и бесшумно покинул зал через боковую дверь. Димитров, вынув из кармана платок, стал вытирать им вспотевший лоб.

— Еще кто-нибудь просит слова? — спросил председательствующий. — Господин Димитров, мы выслушали вашу речь. Прошу вас, сядьте. Мы хотим послушать и других депутатов. Не думайте, что в этом совете только…

В этот момент у него за спиной шумно хлопнула дверь. Появился Калинков, бледный, как полотно. У него дрожали руки.

— Что это значит? — обратился он к Георгию Димитрову. — Провод моего телефона перерезан. Связь с министерством внутренних дел прервана. У дверей какие-то незнакомцы. Перед моим кабинетом стоят двое, засунув руки в карманы. Мы оцеплены. Это… это — революция!

Перепуганные насмерть депутаты от правых партий, толкая

друг друга, устремились к кабинету председателя.

Настал страшный переполох. Толпа шумно выбежала в коридор, понеслась вниз по лестнице. Представители буржуазных партий заперлись в кабинете председателя.

Коммунисты покинули здание муниципалитета и затерялись в толпе прохожих.

Когда через десять минут, высекая копытами искры, по улице Левского к зданию муниципалитета промчался эскадрон конных полицейских, и матерый погромщик Митович спрыгнул с коня, Георгия Димитрова уже и след простыл.

Митович взбежал по лестнице, пулей пролетел по коридору, остановился у председательского кабинета и постучал в дверь:

— Откройте, это я, градоначальник Митович.

Дверь кабинета осторожно открылась. Усатый градоначальник спросил:

— Кого прикажете арестовать?

— Вон его! — прошипел толстошеий, ткнув пальцем в Калинкова.

— Позвольте спросить, почему? — изумился Калинков.

— Потому что ты дал Георгию Димитрову уйти!

Митович откозырял, щелкнул каблуками, повернулся и вышел из кабинета. На улице протяжно и уныло пела шарманка

ТАК НАЧАЛОСЬ ВОССТАНИЕ

Он обошел страну мою с винтовкою в руках,
Переправлялся через реки вплавь и вброд.
Желанная звезда взошла на наших небесах,
К свершениям великим приступил народ.

Ламар

В пасмурный сентябрьский день по присыпанной соломенной трухой дороге, вьющейся по южным склонам Стара-Планины, мчался большой черный автомобиль. С проселков на дорогу выезжали телеги, груженные мелкими початками кукурузы и пупырчатыми тыквами, с участков поспевшего проса срывались стайки воробьев. Где-то в горах гремел гром, вспышки молнии озаряли свинцовое небо.

В черном автомобиле, выехавшем утром из Софии, ехали руководители восстания, которое предстояло объявить через два дня. Георгий Димитров сбрил бороду, коротко постриг волосы. На нем была поношенная темная шляпа с широкими полями, которые затеняли глаза, скрытые за зелеными дорожными очками в роговой оправе, и длинный, доходящий почти до пят светло-зеленый плащ. Васил Коларов тоже сбрил бороду и усы и надел очки. Его плащ казался совсем новым. Любимец коммунистов Врачанского округа Гаврил Генов был в офицерских бриджах, старом пальто и кепке.

Миновав село Надежда, машина остановилась. Вскоре к ней подъехал в пролетке начальник штаба повстанческой армии майор Агынский. С ним были двое молодых парней — Божидар Митрев и Васил Гюров, которым было поручено охранять руководителей восстания. Они везли с собой официальный документ, который гласил, что они являются членами комиссии, которая едет в Вершец, чтобы принять новую водолечебницу. Димитрову отвели роль инженера, а Коларову — юрисконсульта. Для вящей убедительности сбоку к машине привязали две рейки. Тронулись в путь уже впятером.

Было 21 сентября 1923 года. Центральный Комитет Болгарской коммунистической партии вынес решение: объявить восстание в ночь с 22 на 23 сентября. Болгарские фашисты,

разгромившие Болгарский народный земледельческий союз и зверски убившие его вождя Стамболийского, собирались нанести смертельный удар коммунистической партии. Министр внутренних дел генерал Иван Русев готовился к расправе. 12 сентября по всей стране были запрещены коммунистические газеты, закрыты и разгромлены партийные клубы и организации. Тюрьмы были битком набиты коммунистами. Среди арестованных находилось около двух тысяч руководящих работников партии. Но из членов Центрального Комитета в тюрьму попали только Христо Кабакчиев и майор Коста Янков, возглавлявший Военную комиссию по подготовке к восстанию. Генерал Русев размахивал саблей, уже обагренной кровью народа. Черный Павле денно и нощно поддерживал огонь в топке Дирекции полиции, где сгорело множество пламенных сердец. В городах Стара-Загора и Нова-Загора восстание вспыхнуло преждевременно. Руководитель новозагорских повстанцев Петко Енев уже захватил вокзал, почту, околийское управление и готовился к штурму казарм, когда из Софии в Нова-Загору по телефону позвонил министр внутренних дел. С пеной у рта он орал:

— Приказываю немедленно сложить оружие и сдаться полиции!

Петко Енев гордо ответил:

— Никогда!

— Кто вы такой и кто вас посадил туда? — рявкнул полицейский министр.

— На этот пост меня назначил его величество Народ, который этой ночью восстал и разбил ворота вашей тюрьмы. А кто кому сдастся — это решит наша встреча у Чадыр-могилы!

Такой разговор велся между столицей и провинциальным городом в те часы, когда по поручению партии Главный революционный штаб направился во Врачанский округ, чтобы поднять массы на борьбу и повести их на Софию. С подозрительным усердием один из тех, которые крутились около Верховного военного совета, взялся организовать поездку руководителей восстания. Он обеспечил машину — красный автомобиль английского посла в Софии — и поручил шоферу Павлу:

— Поедешь через Арабаконак. Там безопаснее.

Вечером Павел зашел к Димитру Гичеву и сказал ему:

— Не понимаю, почему этот человек так настаивает, чтобы мы ехали на красной машине. Ведь она издали бросается в глаза.

Гичев подумал и спросил:

— Настаивает, говоришь? А каким маршрутом вы должны ехать?

— Через Арабаконак.

— Слушай, брат, я отменяю это решение. Вы поедете через Петрохан и заезжать в Берковицу не будете. Да еще вот что: возьми большую черную машину, а красную оставь. Ясно?

— Ясно, товарищ Гичев!

— А теперь ступай, поздно уже, хотя поспать тебе сегодня вряд ли удастся.

— Да, кто теперь думает о сне, — махнул рукой Павел.

— Когда проедете Надежду, остановишься у постоялого двора и подождешь Агынского. Он поедет вслед за вами на экипаже. Сборный пункт у постоялого двора.

И, положив руку на плечо шофера, Гичев заглянул ему в глаза и добавил:

— Павел, я знаю, ты преданный член нашей партии. Береги Димитрова и Коларова. Если они попадут в руки полиции — нашему делу конец.

— Знаю, товарищ Гичев.

— Ну, в добрый час! И никому ни слова об изменении маршрута.

Большой черный автомобиль приближался к Петроханскому перевалу, пассажиры с тревогой посматривали по сторонам. Вдруг хлынул проливной дождь. Шофер остановил машину, поднял брезентовый верх. Поехали дальше. На Петроханском перевале имелся полицейский пост. Вооруженные до зубов люди Ивана Русева проверяли документы у всех проезжих. Руководители восстания знали, что власти ищут их повсюду и что, попадись они им в руки, пощады не будет, но тем не менее смело ехали вперед. Когда автомобиль поравнялся с караулкой, из нее выскочило человек десять полицейских. Раздались крики:

— Стой! Стой!

Но Павел дал газ, и машина понеслась вниз по дороге к лесу. Пассажиры удивились, что полицейские не открыли по ним огонь. Они ведь не знали, что кто-то предупредил министра внутренних дел, что руководители восстания поедут через Арабаконак на красной машине. На всем протяжении дороги из Софии в Орхание были расставлены полицейские посты. Генерал с минуты на минуту ждал сообщения, что весь штаб повстанцев — в том числе и неуловимый Георгий Димитров, и Генеральный секретарь Коммунистического Интернационала Васил Коларов — уже в руках полиции. Но революционеры ехали не на красной, а на черной машине, и держали путь не в Орхание, а через вековые буковые леса Стара-Планины в село Выршец.

Тишина букового леса успокоила путников. Когда полицейский пост остался далеко позади, они вздохнули с

облегчением и оживленно заговорили. Автомобиль на большой скорости проехал через Клисуру и, вместо того чтобы направиться к Берковице, свернул направо, в сторону села Выршец. Навстречу им попался экипаж. Павел нажал резиновую грушу гудка, и возница свернул на обочину. Из-под поднятого верха высунулась голова полицейского. Он долго смотрел вслед, стараясь понять, кто это может быть, но так и не понял. Останови он машину, Агынский показал бы ему письмо министерства внутренних дел, в котором между прочим говорилось, что власти обязаны оказывать содействие «вышеуказанным членам комиссии по приему новой водолечебницы».

Близ Выршеца, в долине реки Покевица, сбегавшей с гор, машина остановилась, и пассажиры вышли. Гаврил Генов взглянул на часы и сказал:

— Два часа. Рановато въезжать в Выршец.

— Нужно установить связь с партийной организацией. Кто пойдет в село? — спросил Коларов.

— Я пойду, — предложил майор Агынский. — Здесь меня никто не знает.

— Хорошо, — согласился Димитров. — Идите в село и как служебное лицо остановитесь в гостинице «Зеленый лес».

Георгий Димитров, Васил Коларов и Гаврил Генов, попрощавшись с товарищами, свернули в грабовую рощу, оттуда вышли на виноградник и спрятались там в заброшенном шалаше. Агынский и другие отправились в село, чтобы разузнать, что там творится, но не вернулись — их задержала полиция. Руководители повстанцев долго ждали их. После полудня солнце пробилось сквозь тучи, и горные вершины засияли в его золотистых лучах. Гаврил Генов вышел из шалаша и посмотрел в сторону дороги. На ней не было ни души. Подождав немного, он вынул из кармана перочинный ножик и срезал несколько спелых гроздей винограда. Димитров и Коларов с удовольствием стали есть.

К вечеру вместе с тремя товарищами к ним пришел выршецкий коммунист Гаврил Биволчев, на винограднике которого они скрывались. Он сообщил, что выршецкие коммунисты уже в горах и ждут часа, когда можно будет выступить, и что враги настороже.

Когда солнце скрылось за горами и темный лес зашумел листвой, кружным путем — по козьим тропам, через чащобы и луга — Гаврил Генов направился во Врацу, чтобы взять в свои руки руководство повстанцами, а Димитров и Коларов, обсудив с выршецкими коммунистами все вопросы и наметив план действия на 23 сентября, направились в село. Никем не

замеченные, они проникли на дачу Донки Станчевой — мужественной женщины, учительницы, уволенной за коммунистические убеждения. Донка встретила гостей радушно, провела их в одну из комнат верхнего этажа и послала своего племянника, 15-летнего Эмиля Пастармаджиева, караулить во дворе. Босоногому парнишке было велено стоять у калитки и внимательно следить за дорогой. Если он заметит где-нибудь поблизости от дачи «Незабудка» полицейских, то должен будет немедленно предупредить об этом. И чтоб никому не говорил, что к ним приехали гости. Эмиль самым добросовестным образом выполнил поручение тетушки. До поздней ночи он напряженно всматривался в темную улицу, и каждый раз, заслышав шаги, тихонько выходил за калитку, чтобы узнать, кто идет. В этот вечер на дачу никто не зашел, и гости провели ночь спокойно. Они поговорили, поужинали и легли спать не раздеваясь. Было раннее утро, когда Эмиль принес им молока и свежего хлеба. После этого он снова встал на часы. По дороге то и дело проезжали телеги — крестьяне из соседнего села везли отдыхающим яйца, арбузы, только что сорванные початки молочной кукурузы. Вдруг Эмиль пулей влетел в кухню, бледный и дрожащий.

— Тетя, идут!

— Кто идет?

— Масларский со стражниками! Их ищут!

И он показал глазами на верхний этаж дачи.

Донка закусила губу и торопливо поднялась по лестнице. Не стучась, вошла в комнату гостей. Сообщила, что к даче идут полицейские.

— Что теперь делать? — спросила она.

Димитров и Коларов вытащили свои парабеллумы.

— Встретим их, как полагается, — твердо ответили они.

Но Масларский не заглянул на дачу. Он спешил вверх по дороге, к лесу. Димитров и Коларов, выглянув из-за занавески, увидели красные шеи стражников, подгоняемых своим начальником.

— Нас разыскивают. Они уже арестовали Агынского, шофера и других. Знают, что мы где-то здесь, вот и рыщут. Надо прятаться, — сказал Димитров.

Отвернувшись от окна, он увидел большие, полные преданности и решимости глаза Эмиля.

— Надо. Но где? — промолвил Коларов.

— Я вас спрячу! — с жаром сказал Эмиль.

— Где? — спросил Димитров.

— В подвале. Мы говорили с тетей. Правда, тетя?

Донка Станчева утвердительно кивнула головой.

В подвале было темно. Гости перешагнули через арбузы, оставленные хозяйкой на полу, на холодке, пробрались в какое-то помещение, напоминающее курятник — и загородили окошко дровами. Чуланчик погрузился в темноту. Лишь тоненький луч света пробивался внутрь через еле заметную щель. Димитров и Коларов молча сидели в своем убежище и поглядывали на часы. Медленно приближался час восстания. На улицах села рыскали вооруженные банды. Они врывались в дома, угрожали крестьянам, неистовствовали.

— Георгий, — тихо промолвил Васил Коларов.

— Да?

— Знаешь, что мне напоминает этот темный тайник?

— Что?

— Карцер военной тюрьмы в Констанце. Так получается, что в самые решительные моменты мы всегда оказываемся вместе.

Димитров горячо пожал ему руку.

— Только бы этот бой был последним.

Часа в два нагрянул Масларский со своей сворой. По лестнице застучали кованые сапоги полицейских. Непрошеные гости обшарили все комнаты, заглянули под кровати, в шкафы, но никого не нашли. Масларский повел полицейских в подвал. Донка вся напряглась, но старалась ничем не выдать волнения. Оказавшись в темном подвале, полицейские боязливо попятились назад. Масларский грубо подтолкнул одного из них. Тот сделал в потемках шаг, другой, споткнулся об арбузы, сбил какую-то порожнюю жестянку.

— Ой! — вскрикнул он в испуге.

— Есть здесь кто-нибудь? — громко спросил Масларский.

Ответа не последовало. Димитров и Коларов, затаив дыхание, сжимали рукоятки своих пистолетов.

— Никого! — сказал Масларский, махнул своим подчиненным, и они ушли.

Когда топот их шагов заглох и в доме воцарился прежний покой, Эмиль юркнул в подвал. Убрав дрова, он сказал:

— Все, ушли.

Димитров отечески потрепал его по щеке:

— А ты замечательный парень!

Немного погодя Эмиль снова спустился к ним, неся яичницу, хлеб и несколько помидоров.

Наступил вечер. Над лесистыми вершинами гор взошел месяц — красный, словно спелый арбуз. Зашелестели посеребренной листвой деревья. Где-то раздался ружейный выстрел, и листья деревьев на какое-то мгновение словно

замерли. Умолкла и щебетавшая поблизости птичка. Под густыми ветвями яблони поблескивали светлячки. Эмиль стоял за деревом и напряженно наблюдал за улицей.

После полуночи месяц спрятался в тучах, и село погрузилось во мрак. Тогда с гор сошли коммунисты. Ночную тишину нарушили частые винтовочные выстрелы, отдаваясь гулким эхом в глубоком ущелье. Уже начинало светать, когда на дачу «Незабудка» прибежал молодой паренек с винтовкой за плечом. Глаза его горели. Отдав честь, он выпалил одним духом:

— Товарищи, по приказанию Центрального Комитета Коммунистической партии мы объявили революцию и захватили село Выршец!

Димитров и Коларов улыбнулись, горячо пожали руку молодому повстанцу.

С этого момента руководство Сентябрьским восстанием перешло в их руки.

ПОП АНДРЕЙ

«Эй,
повесить попа!
Этот красный поп
без креста,
без молитвы
ляжет в гроб!
У столба телеграфного
был он поставлен.
Подошел палач.
«Капитан!
Веревка готова».
Вдали — темный контур
Балкан.
И небо
суровo.
Поп стоял
у столба,
как огромный утес,
как гранит.

Гео Милев

Повстанец, стоявший на часах у Главного революционного штаба, открыл дверь и вошел в здание.

Склонившись над большой картой, разложенной на столе, с красным карандашом в руке, руководитель восстания сосредоточенно обдумывал план боевых действий.

— Товарищ Димитров, — тихо сказал повстанец, — товарищ Димитров… он хочет войти. Что с ним делать?

— Кто хочет войти? — поднял глаза Димитров.

— Поп.

— Поп? Какой поп? — удивленно спросил Димитров и положил карандаш на карту.

— Повстанец из Медковеца.

— Поп! Повстанец! Пусть заходит.

Поп Андрей шумно ворвался в комнату, поздоровался и тут же начал жаловаться на часового:

— Как человека прошу его: впусти, а он — то да се, канитель разводит. — Потом поп спохватился и представился: — Поп Андрей из села Медковец, повстанец!

Димитров пожал ему руку и пригласил сесть. Оглядел его с

головы до ног.

Камилавка. Длинная суконная ряса. На поясе кавалерийская сабля. Потное смуглое лицо с богатырскими усами и всклокоченной бородой, посеревшей от пыли. Веки тоже посерели от пыли. И лишь глаза горят — точно два уголька.

Поп сел, вытащил из кармана платок и стал вытирать им лоб.

— Что у вас в Медковеце? — спросил Димитров.

— У нас в Медковеце все в порядке. Подняли народ, выбили врага и водрузили красное знамя. А здесь как идут дела?

— Сегодня в три часа мы взяли Берковицу. Революционные войска теснят врага к Петрохану. Два наших отряда — Фердинандский и Белимелский — через Крапчане, Бели-Мел и Липен идут на Врацу. Мы привезли сюда укрытое в Габровнице оружие. Теперь мы сильны. В одном лишь Фердинанде десять тысяч красных бойцов. В голодающие горные села мы отправили обозы с продовольствием.

— А вот как быть с Ломом? — нетерпеливо перебил его поп.

— Ты что, был в Ломе?

— Был.

— Тогда рассказывай, — предложил Димитров и тревожно посмотрел на гостя.

— Да что рассказывать?.. Вчера штурмовали казарму. Весь город в наших руках, а казарму держит противник. В ней укрылись все душители народа с женами и детьми. Мы, медковчане и кривобарчане, атаковали со стороны Штырбановой мельницы, но потерпели неудачу.

— Почему? — воскликнул Димитров.

— Потому что голыми руками не одолеешь их.

— Каким оружием вы располагаете?

— Разным. Карабинами, трехлинейками, берданками. А те, у кого нет ружей, вооружились мотыгами, топорами, вилами. Слабоваты мы.

— А враг?

— Враг? Установил на каждом углу казармы по пулемету и поливает нас свинцом. Буквально из каждой щели выглядывает дуло винтовки. А вдобавок ко всему — казарма обнесена колючей проволокой.

— И что же вы сделали?

— Ничего. Решили штурмовать казарму ночью. Нам сказали: как только услышите колокол голинской церкви — бросайтесь в атаку! Мы ждали, ждали — всю ночь не смыкали глаз. Пропели первые петухи, пропели вторые. Начало светать, а сигнала к штурму все не было и не было. А те, кто на рассвете попытался перерезать ножницами колючую проволоку, так и остались на

месте, изрешеченные пулями. По-видимому, ничего мы не сможем сделать.

Георгий Димитров помрачнел.

— Ну что ж, батюшка, в таком случае придется отказаться от революции.

Поп Андрей вздрогнул, снял с головы камилавку и положил ее на карту.

— От великого дела, — сказал он с расстановкой, — мы не откажемся. Поп Андрей не пойдет на попятный.

— Молодец, — подумал про себя Димитров и спросил:

— А в ваших селах все восстали?

Поп отрицательно покачал головой:

— По дороге сюда я видел одного земляка: постелил себе мешок под деревом и спит. Мы делаем революцию, а он валяется в тенечке. Жаль, не было у меня времени, а то я б ему показал.

— А сам ты почему оставил позиции? — неожиданно перебил его Димитров.

— Я — посыльный. Товарищи прислали меня за орудием. Мы разрушим казарму и уничтожим врагов, если вы дадите нам свое орудие.

— Но его увезли в Берковицу.

— Берковица уже пала. Прикажите, чтобы как можно скорее вернули орудие сюда. Народ прислал меня за ним, и я без него не уеду.

Димитров улыбнулся. Впервые за эти напряженные дни его суровое лицо озарила беглая улыбка.

— Отец Андрей, — начал он и указал карандашом на маленькую черную точку на карте, — враг здесь, на станции Бойчиновци. Этой ночью мы отбросим его, возьмем в свои руки железную дорогу на Лом. Как только путь будет свободен, бери орудие и отправляйся к своим.

Димитров встал, давая этим понять, что разговор окончен.

Лицо попа прояснилось. Его черная борода задрожала от волнения. Он сделал шаг вперед к народному трибуну:

— Товарищ Димитров!

— Что, батюшка!

— Разреши мне, священнику, обнять тебя как сына. Сегодня я был на митинге. Приехал как раз в тот момент, когда ты говорил. Слушал я тебя, слушал и сказал себе: вот это дело! Жребий брошен. Мы не будем спать, не будем есть, будем бороться и не сложим оружия до тех пор, пока не свергнем власть царя, генералов и банкиров. На нас смотрит весь народ. Теперь я готов на все! — торжественно произнес он.

Поп Андрей обнял Димитрова, прижал его к сердцу и горячо

поцеловал в лоб. Потом схватил со стола камилавку.

— Не поминай лихом, сынок, если что случится! — сказал он и быстро вышел из комнаты.

*

От станции Бойчиновци отошел странный состав. Впереди равномерно постукивала колесами на стыках рельсов открытая платформа, на которой были установлены орудие и два пулемета. За платформой пыхтел паровоз, а за ним следовал товарный вагон с вооруженными людьми. Поезд вез бойцов из повстанческого отряда попа Андрея и Кирилла Митева. Эти небритые, усталые люди в кепках и мохнатых шапках, с заряженными ружьями в руках, собирались штурмовать Ломскую казарму. Целый день они вели неравный бой с врагом, засевшим в Бойчиновцах, заставили солдат Шуменского отряда сдаться. А какой молодец Христо Михайлов! Все знали, что он коммунист, но никто не знал, что он такой опытный артиллерист. У солдат было четыре орудия и восемь пулеметов, но метким огнем из единственной пушки повстанцев Христо Михайлов подавил огневые точки врага. Отовсюду раздавались голоса:

— Давай, Христо!

— Бей их, товарищ Михайлов!

— Уничтожим их!

Воодушевленные повстанцы с криком «ура» бросились в атаку. В первых рядах наступающих мелькала ряса медковского попа. Ветер развевал его длинную бороду. Глаза его метали молнии. Угрожающе сверкала сабля, которой поп размахивал над головой, ведя в атаку повстанцев.

Шуменский отряд сдался, но его командиру удалось скрыться. Словно заяц, бросился он в заросли кукурузы. Три орудия, четыре пулемета и свыше трехсот винтовок достались повстанцам.

И вот, утомленный горячей схваткой с врагом, находясь еще под впечатлением боя, поп Андрей ехал на север.

Ему дали человек двадцать из Лопушанского отряда. Ничего, что их мало. С таким людьми и смерть не страшна. Парни Георгия Дамянова настоящие львы.

Поезд долго тащился по пожелтевшему, неубранному кукурузному полю и наконец остановился в селе Долно-Церовене. Из аппаратной выбежал дежурный с красной повязкой на рукаве. Поп приподнялся:

— Куда едете, товарищи? — спросил дежурный.

— В Лом, на свадьбу, — процедил сквозь зубы поп Андрей.

— Туго вам придется.

— Почему-у? — смерил его взглядом поп.

— Лом пал.

— Как это пал? — не поверил его словам командир повстанцев.

— Пал Лом. Сегодня, пока вы выбивали врага из Бойчиновцев, на Дунае загрохотали орудия. В Ломском порту высадились части видинского гарнизона и привезли с собой артиллерию. Они вынудили повстанцев покинуть город. Наши церовенские коммунисты вернулись оттуда. Они рассказывают страшные вещи. Ломские палачи не знают пощады. Убивают людей прямо на улице. В Ломе, Момин-Броде и Дылгошевцах рвутся снаряды. Горят целые кварталы.

— А где повстанцы? — воскликнул поп Андрей.

— Ушли в кукурузные поля. Попрятались люди, что им делать.

Поп Андрей посмотрел в сторону второго вагона, из которого выскочили лопушанцы и с тревогой прислушивались к разговору. Солнце клонилось к закату. Где-то вдали раздавались орудийные выстрелы, и их эхо проносилось над равниной.

— Не бойтесь, братцы! — прозвучал властный, ободряющий голос попа. — Как только наше орудие заговорит, товарищи снова вернутся к нам! Эй, парень, трогай! Вези нас в Лом, — приказал он машинисту.

Орудие попа открыло огонь под селом Брусарци. В монастыре, напротив леса, собрались командиры повстанцев. Огонь сражения поднял дух лопушанцев. И когда конники Кабзы ударили по правому флангу врангелевцев, поп Андрей выхватил из ножен саблю, дико заорал и повел за собой пехотинцев в атаку. Наемные бандиты не устояли и бросились наутек, таща за собой орудия и пулеметы.

Но тут из Бойчиновцев прибыл посыльный с приказом, чтобы поп Андрей вместе со своим орудием немедленно вернулся назад, так как со стороны Врацы наступают крупные силы врага.

— Еду, — согласился поп и, обращаясь к лопушанцам, крикнул: — А вы держитесь до моего возвращения! До свидания!

И паровоз опять потащил платформу к Медковецу. Повстанцы смотрели вслед революционному орудию, с помощью которого была взята Берковица и была уничтожена царская артиллерия под Бойчиновцами. Внушительный, бесстрашный, словно высеченная из черного мрамора статуя, стоял поп у своего орудия, гневно сжимая кулаки. Когда поезд скрылся за поворотом и это видение исчезло, лопушанцы впервые понурили головы. Кто-то уныло

произнес:

— Нет больше нашего попа и его орудия…

В четверг поп Андрей обстреливал из своего орудия Медковец. Выпустив последний снаряд, он снял камилавку, поцеловал онемевшее дуло орудия и молча направился к своему селу. В пятницу вечером враги схватили его на окраине села, когда он перелезал через плетень мельницы. Связали ему руки и увели с собой.

В воскресенье, 30 сентября 1923 года, медковский глашатай огласил приказ военного коменданта: всем жителям села собраться на станции, где будет повешен поп-мятежник.

На улицу высыпало все село. Мужчины и женщины, старики и дети с болью в сердце шли проститься с человеком, который первым встал под знамя великого народного восстания и последним покинул поле сражения. А он был привязан к фонарному столбу у самой станции. Палач обмотал его веревкой с головы до пят и так туго привязал к столбу, что ноги его почти не касались земли.

С взором, устремленным куда-то вдаль, с всклокоченными волосами и бородой, этот мученик, этот герой, сжав зубы, мужественно сносил все издевательства своих палачей. Те, кто еще накануне дрожал при одном упоминании его имени и не находил себе места, когда стреляло его орудие, теперь стегали его по лицу колючками, ругали последними словами, били кольями, выдернутыми из деревенских плетней. А он молчал. И его молчание было страшным.

Матери крепко прижимали к себе детей, у слабых духом подкашивались ноги, сильные же старались встретить его мужественный взгляд.

На площади за вокзалом палачи приготовили виселицу. Принесли стол и стул, поставили их возле телеграфного столба, привязали к нему веревку, сделали петлю. Жертву отвязали от столба. Поп Андрей не удержался на затекших ногах, рухнул на землю, но быстро собрался с силами и встал. Зашагал к виселице. Прохладный сентябрьский ветерок ласкал его растрепавшиеся волосы. Это была прощальная ласка жизни. Его поставили на стол и развязали руки. Поп обвел прощальным взглядом поля, сады Медковеца, собравшихся людей. Женщины начали всхлипывать.

Толстошеий фельдфебель подошел к столу и крикнул:

— Ну, говори!

— Что говорить? — глухо спросил поп Андрей.

— Кто был с тобой?

— Со мной был весь народ! — громко сказал повстанец, и глаза его загорелись.

— Называй имена, а то не миновать тебе виселицы!

— Сегодня вы повесите меня, а завтра будут вешать вас. Так сохраните хотя бы веревку, убийцы!

— Замолчи! — рявкнул стоявший у столба царский офицер и ударил попа по плечу шашкой. Потом повернулся к палачу: — Что ждешь? Накидывай петлю!

— Встань на стул! — дрожащим голосом промолвил палач.

Поп Андрей встал на стул. Палач взял петлю, но руки у него задрожали.

— Меня вешаешь, а сам дрожишь! — презрительно бросил ему поп Андрей, выхватил из его рук петлю и сунул в нее голову. Потом опрокинул ногой стул и повис на веревке.

Заголосили женщины и дети. Кто-то громко крикнул:

— Настоящий борец! Левский!

— Кто это кричит? — рявкнул осипшим голосом тот самый офицер, что ударил саблей попа Андрея.

Он обвел мутным взором многолюдную толпу, но увидел в глазах людей такую жгучую ненависть, что у него по спине пробежали мурашки.

Налетел порыв ветра. Поднялись клубы пыли, зашумела сухой листвой кукуруза.

НА ЧУЖБИНЕ

— Когда в век коммунизма будут вспоминать о нас — нам будут отдавать честь!

Сотир Анастасов,

командир партизанского отряда, созданного после поражения народного восстания 1923 года.

26 сентября 1923 года вооруженные до зубов войска царского правительства, жандармы генерала Русева и шайки софийских фашистов, перевалив седловину под вершиной Тодорини-Кукли, вышли в тыл повстанческому отряду, охранявшему Петрохан. Моторизованные части, наступавшие со стороны Беледие-Хана, тоже преодолели Петроханский перевал и, установив орудия в местности Чапраза, близ села Клисура, открыли огонь по Берковице. Застонал вековой лес, грозный гул орудийных залпов огласил всю окрестность. Враг быстро продвигался к югославской границе. Смыкалось огненное кольцо вокруг восставших городов и сел Северо-Западной Болгарии. Постепенно гасло пламя великого народного восстания. Главный революционный штаб, прилагая отчаянные усилия, чтобы сдержать натиск врага под Криводолом и Бойчиновцами, приказал всем повстанческим отрядам начать отступление в Югославию через участок границы севернее от Берковицы, где все пограничные посты находились в руках коммунистов. Изрешеченное пулями алое знамя восстания всколыхнулось и поплыло на запад по безлюдным пыльным дорогам, через посеревшие поля и непроходимые горы.

В помещении Фердинандского отделения народного банка руководители восстания подписали последний приказ и покинули город. Вдоль левого берега Огосты, через виноградники и черешневые сады они направились вверх к селу Бели-Мел. После нескольких часов изнурительной ходьбы они достигли труднопроходимых Чипровских гор и сделали небольшой привал, чтобы отдохнуть. Вытирая вспотевшие лица, Георгий Димитров и Васил Коларов с грустью оглянулись назад — если не сегодня, так завтра там, внизу, в родном краю, начнется кровавая расправа с поверженным народом. Дальше их путь следовал по крутым звериным тропам мимо вершин Вража-Глава и Миджор. На

тучных высокогорных пастбищах бродили стада овец, откуда-то издали доносился собачий лай. Над горными вершинами бежали облака. Наконец четверо болгар (Димитрова и Коларова сопровождали Александр Костов и офицер запаса Русинов) достигли границы. Там не было ни болгарских, ни югославских пограничных постов, и они беспрепятственно перешли ее. Потом спустились в долину реки Височица и вскоре приблизились к глухому сербскому селу Велика-Луканя, Пиротской околии.

На краю села болгар встретил высокий плотный мужчина. Он подозрительно оглядел нежданных гостей, откашлялся и спросил:

— Кто вы и откуда?

— Мы болгарские повстанцы. Восстание, которое мы подняли, подавлено. Мы перешли границу, чтобы попросить убежища и защиты у братского сербского народа, — ответил Васил Коларов. — А вы кто?

— Я здешний писарь, — ответил мужчина и, покачав задумчиво головой, добавил: — Очень жаль, братья, что восстание завершилось неудачей.

— Неужели ты искренне жалеешь об этом? — с удивлением посмотрел на него Георгий Димитров.

— Да, потому что я знаю ваш народ, знаю болгарских тесных социалистов.

— Откуда ты их знаешь?

— Я был в Болгарии. Во время войны. В плену. Работал в Софии, в железнодорожной мастерской. У нас были не начальники, а звери. Били и ругали за малейшую ошибку. Только партия тесных социалистов заступалась за нас. Большие люди стояли во главе этой партии. Далеко видели. Раз к нам в мастерскую пришел один товарищ, по фамилии Димитров. Высокий, стройный, с бородой и кудрявыми волосами. Пошел прямо к начальнику и стал отчитывать его: «Что вы, — говорит, — делаете с этими несчастными? Требуете, чтобы они работали, а сами издеваетесь над ними. Вы только посмотрите на них — они уже на людей не похожи! Ходят в тряпье, в дырявых башмаках… Знайте, что вы будете отвечать за все!» Эти слова были для нас сущим бальзамом. Начальник мастерской был готов сквозь землю провалиться от стыда, пришел в бешенство. Но что он мог сделать — этот товарищ был депутатом. Потом наше положение немного улучшилось — нас стали лучше кормить, выдали одежду…

— А ты бы узнал сейчас этого депутата-социалиста? — спросил Васил Коларов писаря.

— Как не узнать! Среди сотен людей узнаю его!

— Тогда посмотри на этого человека. Похож он на Георгия

Димитрова?

Писарь внимательно посмотрел на Димитрова.

— Мать честная! Да это же он! — радостно воскликнул писарь и схватил Димитрова за руку. Потом он отвел болгар в общину Велика-Лукани. Пока гости отдыхали, помещение заполнилось народом — всем хотелось взглянуть на тех, кто поднял болгарских трудящихся на борьбу против мироедов. Староста приказал стражникам запереть дверь. Этот его поступок немного охладил чувства писаря.

На следующее утро староста сел на коня и взялся проводить руководителей Сентябрьского восстания в Пирот. Димитров, Коларов, двое их товарищей, писарь и несколько человек крестьян последовали за деревенским богачом пешком. Перевалив через гребень Видлич-Планины, они спустились к берегам Нишавы, поросшим ивами. Прежде чем войти в город, путники остановились у источника, чтобы напиться.

— Здесь неистовствовал Протогеров, которого Фердинанд назначил верховным правителем оккупированных сербских земель, — заметил Георгий Димитров и, сняв темные очки в роговой оправе, намочил себе лоб холодной водой.

Староста Велика-Лукани отвел болгар в Пиротский муниципалитет. Местные власти устроили их в городской гостинице. Не успели Димитров и Коларов привести себя в порядок и немного отдохнуть, как к ним в номер ворвался поп — огромный, краснощекий детина, с роскошной раздвоенной бородой. Его сопровождал какой-то человек в штатском.

— Я, господа, — представился священник, — наместник архиерея в Пироте, а его милость — депутат скупщины. Он из партии Пашича. Раньше работал портным в Пловдиве. Был членом Болгарского союза швейников. Знает вас обоих!

Поп протянул огромную руку, поздоровался с гостями и отодвинулся в сторону, чтобы депутат мог пожать им руки.

Затем, встав посередине комнаты, поп заговорил торжественным тоном:

— Господа! Я сербский националист и патриот и хорошо помню, как жестоко обращались болгарские власти с сербским населением во время войны. Но вас, болгарских социалистов, я уважаю, ибо вы были единственными защитниками сербского народа и спасли жизнь многим пленным, многим невинным гражданам. Сербский народ глубоко признателен вам за это. Добро пожаловать на нашу землю!

Слушая эти слова, Васил Коларов вспомнил о братоубийственных войнах между сербами и болгарами после их освобождения от турецкого ига, об огромных человеческих и

материальных жертвах. Но правителям обеих стран не удалось подавить стремление болгарских и сербских трудящихся жить в дружбе и братстве. Среди всех партий только коммунистическая партия была непреклонным и последовательным борцом за братство обоих народов.

Это понимают даже сербские попы.

Первого октября Димитров и Коларов прибыли из Пирота в Ниш. На вокзале их встретил Сотир Анастасов из Пештеры, который эмигрировал в Югославию еще до восстания. Он повел их к себе на квартиру.

— Наши все прибывают и прибывают. Наводнили Ниш, — рассказывал по дороге Анастасов. — Уже собралось больше тысячи человек. Сербы устроили их в помещениях Красного Креста. Что будет с этими людьми, не знаю. Нет ни коек, ни одеял. Спят на соломе. В сутки им выдают по буханке хлеба. Наши товарищи в страшном положении — истощенные, оборванные, обросли бородами, точно попы.

— Кто здесь? — поинтересовался Димитров.

— И Гаврил, и Христо Михайлов, и Козовский, и Георгий Михайлов, и Конов, и лопушанец Георгий Дамянов.

— А мы где остановимся?

— У меня на квартире. В цыганском квартале близ Арнаут-базара. Я живу у одной пожилой хромой работницы, по имени Драга. Будете моими гостями.

Анастасов жил далеко от вокзала, и они добирались долго. Войдя в комнату, Димитров опустился на кровать и, взглянув на балки низкого, провисшего потолка, заметил:

— Слушай, Чико, я не удивлюсь, если этот потолок обрушится нам на головы.

— Потолок, правда, не ахти какой, зато Драга — надежный человек.

— И все же мы должны явиться к местным властям, зарегистрироваться, — напомнил Коларов и попросил щетку, чтобы почистить пыльную одежду.

Приведя себя в порядок, гости направились в муниципалитет. Областной начальник, узнав, где они остановились, закусил губу:

— Нет, этого мы не можем допустить. Вы наши дорогие гости. Я прошу вас переехать в гостиницу «Европа». Номера там удобные, большие, чистые. Внизу ресторан.

С желанием хозяев нельзя было не считаться, поэтому Димитров и Коларов отправились в гостиницу. Но не успели они перешагнуть порог старого нишского постоялого двора, как в дверях появились вооруженные полицейские.

— Ого! Да мы под домашним арестом! — с тревогой заметил

Васил Коларов.

— Западня! — гневно воскликнул Димитров. — Быстро мы попались на их удочку. Еще неизвестно, как нам удастся выбраться отсюда.

Через час в гостинице «Европа» появился капитан Динич — сотрудник государственной безопасности. Он уселся за стол, вытащил блокнот и стал допрашивать гостей, почему они объявили восстание, сколько было повстанцев, какими силами располагали правительственные войска. Коларов терпеливо и спокойно отвечал на все вопросы, рисовал картины сражений, а Димитров стоял у окна и мрачно смотрел на улицу.

Вдруг в коридоре послышался шум кованых сапог и загремел чей-то пьяный голос:

— Где они? Я покажу им, как устраивать конспиративное собрание на югославской территории…

Кто-то грубо толкнул дверь. Все трое повернули головы: на пороге стоял пьяный полицейский с налитыми кровью глазами, в фуражке, сдвинутой на затылок.

— Как вы осмеливаетесь… — заревел он, но, увидев капитана Динича — своего начальника, мигом отрезвел. Вытянувшись в струнку, полицейский отдал честь, пробормотал «извините», повернулся на каблуках и исчез, за дверью.

— Прошу вас, не обращайте на него внимания! Он пьян, — сказал агент и продолжил допрос.

В тот же день в кофейне «Княжевац», находящейся напротив гостиницы «Европа», Гаврил Генов собрал командиров повстанческих отрядов. Он заказал им по чашке кофе и тихо начал:

— Товарищи! Как вы уже знаете, Георгий и Васил находятся в гостинице под арестом. Сегодня, притворившись пьяным, один полицейский ворвался к ним в номер и попытался напасть на них. Если бы в это время там не было агента госбезопасности, я не знаю, чем бы все кончилось. У меня есть сведения… не смотрите мне в глаза, делайте вид, что не слушаете меня, потому что эта собака, содержатель кофейни, прислушивается к каждому слову… У меня есть сведения, что в Ниш приехал из Болгарии палач, по фамилии Огнянов. В любую минуту он может пробраться в гостиницу. Часовые не остановят его. Если Георгий и Васил останутся этой ночью в гостинице, может случиться беда. Понимаете, в каком тяжелом положении мы оказались? Говорите, что делать?

— Нужно вывести их оттуда и помочь им укрыться! — сказал Козовский, нервно мешая кофе.

— Но как это сделать? — спросил Гаврил Генов, не глядя на

руководителя Кнежанского отряда.

— Проберемся ночью в гостиницу.

— Ты забываешь, что она охраняется.

В разговор вмешался Сотир Анастасов.

— Я очень хорошо знаю эту гостиницу. В нее можно проникнуть с черного хода. На ночь он не запирается, да я жандармов там нет. Когда стемнеет, мы спрячемся во дворе желтого дома. От гостиницы его отделяет невысокий забор, через который нетрудно перелезть.

— А где мы их укроем? Нам нужна тайная квартира.

— Я позабочусь о квартире, — заявил Анастасов и вышел из кофейни.

Над Нишем опустилась ночь. Затих стук телег и конских копыт. Опустела главная улица. Лавочники позакрывали свои лавки. Одно за другим погасли окна в желтом доме рядом с гостиницей «Европа». Лишь на нижнем этаже какая-то девушка долго стояла у раскрытого окна и мечтательно любовалась луной. Под ее окошком, в тени забора, замерли в томительном ожидании пять человек. Городские часы пробили один раз. Девушка зевнула, потянулась и потушила свет. Месяц скрылся за тучу, и двор погрузился в полный мрак. Часы пробили два раза.

— Пора! — шепнул кто-то у забора. — Забирайся мне на спину и перелезай через забор!

Три тени бесшумно перемахнули через забор, пересекли двор и исчезли за дверью гостиницы. Поднимаясь по лестнице, трое незнакомцев вытащили пистолеты. Увидев их, уборщица, которая в это время гладила в коридоре простыни, выронила утюг и замерла. Тот, что шел первым, сделал ей знак, чтобы она молчала.

— Что вы от меня хотите? — спросила перепуганная женщина.

— Ничего. Мы пришли за своими товарищами — болгарами. В каком они номере?

— В четырнадцатом. Дверь не запирается. Что вы собираетесь делать?

— Мы возьмем их со собой, а ты ступай в свою комнату и запрись в ней. Помни: ты ничего не видела и не слышала. Если закричишь — пеняй на себя!

Уборщица дрожащими руками сложила недоглаженные простыни, взяла утюг и ушла в свою комнату.

Сотир Анастасов осторожно открыл дверь четырнадцатого номера. Дверь скрипнула. Димитров спал крепко и ничего не услышал, но Коларов тут же вскочил.

— Кто здесь? — крикнул он.

— Тише, Васил. Это я — Чико. Вставайте. Мы пришли за вами. Поскорее.

Не зажигая света, Коларов и Димитров быстро оделись. Молча, на цыпочках, они вышли в коридор, спустились по лестнице, пересекли двор и перелезли через забор. Когда вся группа оказалась на улице, Сотир Анастасов оглянулся. Все было в порядке. Полицейские спокойно стояли у парадного входа гостиницы и курили.

Уже начало светать, когда Димитров и Коларов добрались до тайной квартиры в цыганском квартале. Сняв пальто и бросив его на стул, Георгий Димитров повернулся к Сотиру:

— Чико, приведи сюда областного секретаря Радничкой партии и секретаря профсоюзов. Секретарем партии здесь сталелитейщик Ганц, а профсоюзов — Воя Янкичевич.

Оба рабочих деятеля знали Георгия Димитрова. Во время войны он приезжал в Ниш, чтобы спасать железнодорожников-коммунистов от военных трибуналов Протогерова. Сталелитейщик Ганц шумно ворвался в комнату, бросился к Димитрову, обнял его и на радостях изверг целый поток ругательств.

— Чем можем помочь? — спросили сербы.

— Нам нужны деньги, — ответил Георгий Димитров. — У нас нет никаких средств, а нужно послать телеграммы за границу.

В тот же день Сотир Анастасов отправил телеграммы в Москву, Вену, Бухарест и Стамбул. В них руководители партии сообщали о разгроме народного восстания и просили прогрессивную общественность мира выступить в защиту жертв Цанкова и тысяч эмигрантов, которые день и ночь покидали Болгарию.

После обеда Димитров и Коларов опустили занавески на окнах и снова сели за стол. Георгий Димитров писал химическим карандашом на увлажненной ткани наказ партии и профсоюзам Болгарии. Покончив с наказом, он принялся составлять вместе с Коларовым «Открытое письмо болгарским рабочим и крестьянам», которым завершилась славная эпопея Сентябрьского народного восстания 1923 года.

Пока они писали, дупничанин Крекманов стоял на посту у дверей тайной квартиры, а Сотир Анастасов бегал по городу, выполняя разные поручения.

Из Белграда телеграммой вызвали Николая Ивошевича, брата жены Георгия Димитрова. Юноша прибыл с первым же поездом. Чико встретил его на станции. Увидев Николая, Димитров положил ему руку на плечо и сказал:

— Послушай, дорогой, тебе нужно съездить в Болгарию и

отвезти наш наказ партии и профсоюзам. Ты согласен?

— Да, я согласен. Ради тебя я готов на все.

Николай разделся, и его, точно мумию, обмотали тканью, на которой был написан наказ. Посланец получил паспорт и уехал в Болгарию — погостить у сестры Любицы.

Открытое письмо не удалось отпечатать в Нише — типография не располагала болгарским шрифтом. Поэтому, как только было получено разрешение, Димитров и Коларов сели на поезд и выехали в Белград. Они передали текст письма болгарским земледельцам-эмигрантам — чтобы те напечатали его. Однако, опасаясь, как бы при наборе текст не был искажен, Димитров решил сам пройти в типографию.

Вечером он рассказывал Коларову:

— Хотя я уже двадцать лет не занимался этим делом, как только подошел к кассе, во мне закипела кровь наборщика, и я без труда, быстро набрал письмо.

Сотир Анастасов отвез отпечатанные экземпляры в Цариброд и передал их Замфиру Петрову, а тот переправил их через границу в Болгарию.

Над исстрадавшейся родиной, над пожарищами, братскими могилами и виселицами прозвучали бодрящие слова:

> «Долой уныние, долой отчаяние, долой малодушие!
> Выше головы, славные бойцы!
> Да здравствует рабоче-крестьянское правительство!
> Да здравствует Болгария трудящихся!»

ЗАКОВАННЫЙ ДИМИТРОВ

Горемыка Стоян, горемыка —
два раза его поджидали,
на третий схватили беднягу,
красный кушак размотали,
крепкие руки скрутили,
в темницу его посадили.

Народная песня

30 января 1933 года президент Германии, престарелый фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, назначил рейхсканцлером главаря немецких фашистов, будущего поджигателя второй мировой войны Адольфа Гитлера.

Гитлеровская партия комплектовалась в своей основе из деклассированных элементов, всякого рода неудачников, офицеров, не сделавших карьеры, спившихся студентов, разоренных аристократов, отчаявшихся буржуа, крупных и мелких авантюристов, профессиональных убийц, вожаков отрядов добровольческого корпуса, шпионов и уголовников.

Во время выборов в рейхстаг в сентябре 1930 года этой шайке удалось увлечь за собой несколько миллионов немецких избирателей. Гинденбург дрогнул и протянул руку будущему претенденту на мировое господство. В одну из морозных январских ночей на трибуне в Берлине плечом к плечу стояли верный лакей Гогенцоллернов, могильщик государственной независимости Германии Гинденбург и австрийский ефрейтор Гитлер — в фуражке, надвинутой на лоб, с подстриженными усиками и лихорадочно горящими глазами. А внизу с факелами в руках чеканили шаг бескрайние колонны эсэсовцев, штурмовиков и «Стального шлема».

Поднимая руку, национал-социалисты приветствовал» своего «фюрера» на манер древних римлян (другого приветствия они не смогли придумать!) и орали:

— Веди нас, фюрер! Мы пойдем за тобой!

И он повел их на Орел и Ленинград, на Москву и Волгоград, откуда им не было возврата.

Захватив власть, Гитлер первым делом решил свести счеты с Коммунистической партией Германии, которая на парламентских выборах получила почти пять с половиной миллионов голосов. Эта партия мешала национал-социализму начать новую мировую бойню, и поэтому ее нужно было уничтожить. Для того чтобы

сбить с толку немецкий народ, нацистские вожаки придумали план: они подожгут рейхстаг, поднимут вокруг этого большую шумиху, раструбят на весь мир, что поджог — дело рук коммунистов, поразят таким образом воображение мелкой буржуазии, и она поверит, что коммунисты — самые страшные люди на свете. Это развяжет руки молодчикам Геринга, и они выйдут на историческую сцену как борцы с большевизмом, как «спасители» отечества и человечества. Заслать ночью поджигателей в парламент — это для председателя рейхстага Геринга было плевым делом, ибо его квартира была связана с рейхстагом тайным подземным ходом и ключи от парламента позвякивали у него в кармане.

Ночью 27 февраля над старым зданием парламента взвилось пламя. С пронзительным воем понеслись по улицам пожарные машины. За ними на бешеной скорости мчался личный автомобиль рейхсканцлера. Весь вечер Гитлер просидел в кабинете, ожидая обещанного Герингом спектакля. Он нервно кусал губы, то и дело поглядывал на часы, старался сочинить памятное «историческое» заявление для иностранных журналистов. И вот Гитлер стоит перед пылающим рейхстагом, его обдает жаркое дыхание пожара. Он оглядывается по сторонам и, заметив корреспондента английской газеты, истерически восклицает:

— Это знамение, ниспосланное нам богом! Никто теперь не помешает нам раздавить коммунистов железным кулаком! Вы, — он делает шаг в сторону корреспондента, — являетесь очевидцем новой, великой эпохи в истории Германии. Этот пожар — ее начало!

Польщенный свидетель раболепно кивает головой и, попыхивая трубкой, добросовестно записывает слова канцлера в свой блокнот.

В ту же ночь гитлеровские громилы выползли из своих логов и начали охоту на коммунистов. Первым делом схватили голландца Маринуса ван дер Люббе. Этот бродяга, порочный, опустившийся человек, завсегдатай всяких вертепов, был исключен из рядов Коммунистической партии Голландии за раскольническую деятельность. Гитлеровские агенты давно уже обрабатывали его, старались сделать своим слепым орудием, чтобы в нужный момент предать Имперскому суду. Он всегда был у них под рукой.

Пожар уже был потушен, когда Георгий Димитров вышел из третьеклассного спального вагона мюнхенского поезда и зашагал по перрону берлинского вокзала. По дороге он купил газету и из нее узнал о пожаре, впервые в ней прочел имя ван дер Люббе.

— Ненормальный человек или… провокатор, — подумал Димитров и, бросив газету в урну, спустился в метро.

В ресторане «Байернгоф» работал официант Гельмер, который был членом национал-социалистской партии. За деньги этот негодяй был готов продать и родную мать. Узнав, что за поимку поджигателей рейхстага полиция Геринга обещает награду в 20 тысяч марок, Гельмер тут же настрочил донос и побежал в полицию.

— Ван дер Люббе! Я отлично знаю его. Он часто заходил в наш ресторан и подсаживался к трем славянам-конспираторам, которых уважаемая полиция хорошо знает. А знаю ли их я! Конечно, знаю! Мне же поручили вести наблюдение за ними… Один из них — тот высокий, стройный, с большим лбом — руководил каким-то восстанием у себя на родине, а теперь — член Исполнительного комитета Третьего Интернационала. Это известно полицей-президиуму. Должен сказать вам, что эти четверо — очень опасные люди. Всегда о чем-то разговаривают, шепчутся, а как только я подхожу к их столику, сразу умолкают… Приходят ли они в ресторан каждый вечер? Нет, каждый вечер не приходят, но как только придут, я тут же сообщу вам по телефону!

Вечером 9 марта наглый клеветник поднял телефонную трубку и сообщил в криминальную полицию:

— Пришли!

Немного погодя в ресторан вошли двое вооруженных полицейских агентов и, обменявшись несколькими словами с официантом Гельмером, направились к столику, за которым сидел Георгий Димитров. Показав свои удостоверения, они предложили ему последовать за ними. Димитров встал, рассчитался с Гельмером, надел пальто и вышел вместе с полицейскими. Его отвели в тюрьму берлинской полиции. При обыске у Димитрова отобрали все деньги (350 марок и 10 долларов), часы, очки, записную книжку. Потом взяли в руки паспорт.

— Ваше имя? — спросил следователь.

— Георгий Димитров.

— А в паспорте указано: Рудольф Гедигер. Почему?

— Я болгарский политический эмигрант. Покинул родину после вооруженного восстания 1923 года. Суд палача Цанкова приговорил меня к смерти. Меня преследуют наемные убийцы болгарской полиции, поэтому я вынужден скрывать свое имя.

— Чем вы занимаетесь?

— Разъезжаю по столицам европейских стран. После разгрома восстания полиция Цанкова арестовала десятки тысяч

невинных людей — рабочих и крестьян. Я стараюсь, чтобы об их тяжелом положении узнали все, кому дорога жизнь. Был в Праге, Вене, Амстердаме, Париже, Брюсселе. Рассказал о терроре в Болгарии таким видным гуманистам, как Стефан Цвейг, Неедлы, Анри Барбюс и Ромен Роллан. Я слежу за болгарской прессой, посылаю статьи в иностранные газеты, осведомляю зарубежную общественность о положении в Болгарии.

Димитрова поместили в тесную тюремную камеру, вся обстановка которой состояла из одного деревянного топчана. Постоянно таскали его к следователю. Полицейские обращались с Димитровым нагло и грубо. Раз, когда его вели на очередной допрос, один из агентов, обращаясь к своему товарищу, сказал нарочито громко, явно для того, чтобы услышал и арестованный:

— В Болгарии этот субъект был приговорен к смерти, но избежал наказания. Здесь же, помяните мое слово, ему не избежать виселицы!

Димитров не удостоил его даже взглядом.

По окончании допроса Димитрову подсунули протокол, чтобы он его подписал. Но Димитров отрицательно покачал головой:

— Не подпишу!

— Почему? — строго спросил его следователь.

— Потому что не доверяю полиции, а особенно теперешней немецкой полиции. Все то, что я найду нужным сказать, я изложу в собственноручно написанном объяснении.

И он написал свое изложение.

> «…Программы и уставы всех коммунистических партий и Коммунистического Интернационала запрещают индивидуальный террор под угрозой исключения из коммунистической партии любого ее члена, который прибег бы к методам индивидуального террора. Все совершенные в Болгарии террористические акты, включая и взрыв кафедрального собора в Софии в апреле 1925 года, были публично и самым решительным образом осуждены как мной лично, так и партией, к которой я принадлежу, и Коммунистическим Интернационалом. Мы — коммунисты, а не анархисты».

В тюрьме при полицей-президиуме арестованным разрешалась 15-минутная прогулка. Там, в огороженном высокими стенами узком дворе, где заключенные молча шагали один за другим, встретились два руководителя международного рабочего движения: Димитров и Тельман. Вождь немецких коммунистов издалека узнал болгарина по высокому лбу,

тронутым сединой кудрявым волосам и орлиному взгляду:

— Димитров!

Глубоко взволнованный Тельман остановился перед Димитровым, ему захотелось его обнять, но к ним тут же подбежал полицейский и, грубо схватив Тельмана за плечо, оттолкнул в сторону. В глазах Георгия Димитрова вспыхнуло гневное пламя.

Гестаповцы арестовали Тельмана шесть дней назад. Они бросили его в тюрьму за то, что он был руководителем миллионной Коммунистической партии Германии к призывал рабочих выступить против кровавого фашизма, за то, что он вел беспощадную борьбу против поджигателей новой войны, за то, что он горячо любил страну строящегося социализма. Тельман говорил немецким рабочим:

— На свете есть страна, где нет фашизма. Там совершенно немыслимо все то, что происходит в Германии, где фашистские убийцы совершенствуют свое кровавое ремесло в рабочих кварталах. Эта страна — Советский Союз.

Когда Тельмана заковали в кандалы, геббельсовская пропаганда раструбила на весь мир: «В Берлине, в тайнике под зданием коммунистической партии, найдены взрывчатые вещества, которых хватит для того, чтобы взорвать всю германскую столицу». Тельман предстал перед Имперским судом. Нацистский «юрист» Франк обещал сделать страшные разоблачения, дескать, когда начнется процесс против Тельмана, весь мир содрогнется! Но, обжегшись в Лейпциге на процессе, затеянном против Георгия Димитрова, гитлеровцы не решились судить Тельмана. Целых одиннадцать с половиной лет они продержали его в тюрьме. Наступили самые тяжелые дни. Танки с черными крестами ползли к Москве и Ленинграду. Гестаповцы ликовали. Однажды в камеру Тельмана вломились трое тюремщиков:

— Кончено с твоей Россией! Красная Армия разбита. Что ты скажешь теперь?

Тельман бросил на них презрительный взгляд и сказал:

— Придет день, когда Советский Союз свернет Гитлеру шею!

Гестаповцы не простили ему этих слов. В августе 1944 года, когда недобитый зверь, истекая кровью, поспешно отступал к своему логову, палачи из Бухенвальда расстреляли Тельмана…

В зал, где заседала следственная комиссия, гестаповцы ввели очередную «свидетельницу» — крашеную дамочку с наглым взглядом, в меховом пальто. На руках — перстни с поддельными бриллиантами.

— Где свидетельница видела арестованного Димитрова? —

обратился полицейский следователь к гражданке, которая нахально рассматривала арестованного болгарина.

— В кафе на Дюссельдорфштрассе.

— Кто был с ним?

— Тот… как его фамилия… каменщик, который поджег рейхстаг.

— Когда это было? — удивился Георгий Димитров.

— 26 февраля в четыре часа пополудни! — не моргнув, глазом, ответила «свидетельница».

— Но, позвольте, господин следователь, 26 февраля я был в Мюнхене. Проверьте. Эта женщина лжет.

«Свидетельница» пришла в замешательство, захлопала глазами, умоляюще посмотрела на следователя, но тот только махнул рукой — мол, убирайся вон.

Задержанные коммунисты находились в ужасных условиях:

> «Тюрьма при полицей-президиуме, — рассказывал потом Димитров, — была забита политзаключенными, коммунистами и другими активными борцами. В ней я пробыл с 9 по 28 марта 1933 года и каждый день слушал, как из коридора и со двора часами доносятся страшная ругань, удары плетки, душераздирающие крики. И оба раза, когда меня водили к врачу, я видел целую вереницу заключенных с кровавыми пятнами на одежде, с перевязанными головами и руками, с кровоточащими ранами. Это были следы перенесенных пыток».

В конце марта начались проливные дожди. Димитров слышал, как холодные капли стучат по крыше черного автомобиля, как шуршат по мокрому асфальту шины. Когда машина остановилась во дворе тюрьмы Моабит, Димитров выпрыгнул из нее и, сняв шляпу, подставил голову под освежительные струйки дождя. Но не долго продолжалось это наслаждение — тюремщики тут же потащили его в мрачную тюрьму. Димитрова поместили в камеру для особо опасных преступников. На дверях — три замка, на окнах — тройные железные решетки. Цементный пол. Его заставили переодеться в полосатую тюремную одежду. В регистре записали его под № 8085.

3 апреля судебный следователь Фогт приказал заковать заключенного в кандалы, и на следующий же день его приказ был исполнен. Железные кольца больно впивались в запястья. С закованными руками очень трудно перелистывать страницы книги, а тем более писать. Тем не менее, превозмогая страшную боль, Димитров начал писать свое первое письмо из Моабита —

Анри Барбюсу, автору романа о первой мировой войне «Огонь». Как назвать обвинение в поджоге рейхстага? Он закусил ручку и задумался. Если назвать его клеветническим, письмо не выйдет за стены тюрьмы. Лучше всего написать что это — «ужасная ошибка». И письмо об «ужасной ошибке» было отправлено в Париж, в редакцию газеты «Юманите».

В первую ночь заключенный не знал, что делать с руками, закованными в кандалы. Вытянул их вперед — они тут же затекли. Положил на грудь, тяжело, невозможно дышать. Попробовал отвести их вправо или влево — боль в кистях становилась нестерпимой. Он встал, склонился над раскрытой немецкой историей, которую ему принесли из тюремной библиотеки, и попытался читать без очков. Буквы запрыгали перед глазами и исчезли в сером тумане. Ясно: глаза ослабли, сказалась многолетняя напряженная работа над книгами. После полуночи он задремал. Утром ему показалось, что у него отнялись руки. Тогда он встал с кровати и начал раскачивать их как маятник. Кандалы оглашали камеру зловещим звоном. Гимнастика ободрила его.

— Я протестую! — заявил он на очередном допросе свирепому Фогту. — Почему меня заковали? Немецкие законы предусматривают кандалы лишь для тех, кто поднимает руку на тюремщиков, кто предпринимает попытку к бегству или к самоубийству. Я не отношусь к этой категории! Снимите с меня кандалы!

— Я ничего не могу сделать для вас, — холодно ответил судебный следователь. — Вы поджигатель рейхстага!

Однако Димитров был несломимым, сильным человеком. Он знал, что находится в руках свирепого классового врага, и решил быть твердым, как сталь. До конца!

Когда через несколько дней ему принесли его авторучку, очки и любимую трубку, он обрадовался как ребенок. Взял ручку, раскрыл дневник, который он начал еще в день ареста, и сел писать. Как отяжелело золотое перо! Ржавые кольца цепей царапают бумагу. Первым делом он нарисовал физический и моральный портрет следователя — национал-социалиста.

> «Фогт — невысокого роста, иезуит. Способен вести лишь мелкие уголовные дела. До исторического процесса, проходящего на глазах у мировой общественности, он еще не дорос. Мелочный идиот. Если бы он был умнее, то уже после первых же наших столкновений он бы всячески стремился не предавать меня суду».

Пошли допросы. Фогт каждый день «находил» все новых и новых «свидетелей» — каких-то подозрительных типов из берлинских вертепов, из катакомб гестапо и из редакций газет. Эти «свидетели» оглядывали заключенного с ног до головы и многозначительно качали головой: «Разумеется он. Тот самый. Мы его видели много раз с голландцем ван дер Люббе. Они были неразлучны».

Димитров с отвращением потряс кандалами перед носом следователя.

— На что это похоже? Разве я медведь? Зачем вы показываете меня этим субъектам, которые никогда в жизни не видели меня и которых я никогда не встречал?

Но Фогт был упрямым человеком, он ревностно исполнял свои «обязанности». Он придумывал все новые и новые пытки и моральные испытания для своей жертвы, предугадывал каждое желание своих хозяев — заправил третьего рейха.

«Я похож на птицу в клетке, — думал Димитров. — Крылья есть, а на свободу, где назревают большие исторические события, вылететь не могу. Гитлер пытается повернуть колесо истории вспять. Земля горит под ногами капиталистов, а я сижу за тремя замками и должен молчать».

Из Моабита в мюнхенскую тюрьму Димитрова перевезли на черной машине. Одних оков полицейским показалось мало, поэтому они привязали его ноги к скамейке. В новой тюрьме берлинские тюремщики сняли с Димитрова оковы и увезли их с собой. Директор мюнхенской тюрьмы оказался в очень затруднительном положении: где взять оковы, ведь в мюнхенской тюрьме они давно упразднены. А в сопроводительном письме ясно указано: «Димитрова содержать при строгом режиме. Заковать ему руки». Не смея перечить своим берлинским хозяевам, директор приказал связать узника обыкновенной цепью. Ржавые железные путы были очень тяжелыми, они в кровь изранили руки и ноги Димитрова, лишили его последних сил. Боль стала нестерпимой. О «человеке в цепях» узнала вся Бавария, и к нему в камеру то и дело «наведывались» разные высокопоставленные нацисты. По возвращении Димитрова в Моабитскую тюрьму его снова заковали в прежние кандалы. Фогт был убежден, что с помощью насилия и средневековых пыток ему удастся сломить Димитрова, погасить пламя в его душе. Но он не знал, с кем имеет дело.

В самые тяжелые минуты закованный Димитров перечитывал стихотворения великого Гете, и они придавали ему сил. Он упивался замечательными строками:

Потеряешь богатство — мало потерял,
Потеряешь честь — много потерял,
Потеряешь смелость — все потерял!

Однажды ночью он увидел во сне свою мать, такую как всегда — смелую, мужественную, полную надежды, непреклонную. В морозный январский день бабушка Парашкева идет по полю. Ветер развевает концы ее черного платка, гнет до земли ветви деревьев. Ноги тонут по колено в снегу. Слышится грозный вой. Что это: зимний ветер или стая волков, преследующая старушку? Бабушка Парашкева время от времени оглядывается назад, угрожающе замахивается на волков палкой, осыпает их проклятиями. Но звери настигают ее, и Димитров слышит ее громкий крик:

— Георгий, Георгий, где ты, сынок? Спаси меня!

— Я здесь, мама! — отвечает сын и протягивает к ней руки.

Звякнули оковы, словно ножом полоснули узника по груди. Узник вздрогнул, проснулся, весь облитый холодным по́том.

— Волки, мама, — прошептал он, — здесь, рядом со мной. Но ты не бойся. Сама ведь писала мне, чтобы я нес свой крест, как апостол Павел. И я буду нести его до конца. Буду мужественным, терпеливым и твердым. Тебе никогда не придется краснеть за своего сына.

Весна пришла с грозами, с проливными дождями, с птичьим пением. Но ни один луч солнца не пробился в мрачную камеру моабитской тюрьмы. Скоро на Унтер ден Линден зацветут липы. А на родине все уже утопает в зелени. Упоительный аромат сирени разносится над маленькими скверами софийской окраины, где живет его семья. На площади Святой Недели цветочницы продают гиацинты и ландыши. Застенчивые деревенские девушки предлагают прохожим букетики фиалок. Как ему недостает сейчас Любы, которая никогда не забывала поставить ему на письменный стол глиняную вазочку со свежими весенними цветами. Когда он писал, склонившись над столом, она входила к нему в комнату на цыпочках, и все вокруг сразу же преображалось. Люба… Где она теперь? Почему ничего не пишет? Если с ней что-нибудь случится, то это будет для него самым страшным ударом.

В Софии, на улице Ополченска, живут три настоящие героини: мама, Люба и Лена. Вихрь революционной эпохи разлучил его с ними.

Сколько тепла и радости приносили ему в холодную камеру письма матери и двух сестер. За неприятности, за тревоги, за

бессонные ночи, за ругань и угрозы полицейских, за обыски, за все, что преподнесла им его бурная, напряженная, кипучая жизнь, они платили ему безграничной преданной любовью!

«Мои дорогие мама и сестра!»

На этот раз проклятый тюремщик так стянул его руки наручниками, что он не может писать. Или, может, руки онемели?

Димитров положил руки на чистый лист бумаги, посмотрел на крошечное окошко, едва пропускавшее свет, на затянутую паутиной решетку, и его мысль, которую никто не был в состоянии заковать, вырвалась наружу, на волю, взмахнула крыльями…

Село Ковачевци. Поле местного богатея. Золотятся и тихо шумят спелые хлеба. В воздухе пахнет озоном. Откуда-то издали, словно жужжание пчел, доносится песня жнецов. В тени, прислонившись спиной к снопу, сидит простоволосая женщина. Смертельно бледная, измученная только что перенесенными родами. Широко раскрыв глаза, она пристально смотрит на новорожденного, который лежит у нее на коленях. Ребенок очень голосистый, своим плачем он заглушает песни жнецов. Молодая батрачка Парашкева Димитрова, для которой не нашлось ни одной повитухи, завернула сына в белый передник. С Рилы дует прохладный ветер. Возле роженицы собираются жнецы с серпами в руках.

— Долгой жизни твоему сыну, Парашкева!

— Пусть будет солдатом!

— Пусть растет большой да ученый!

Сбылись пожелания крестьян. Ребенок вырос. Жив — здоров. Солдат рабочего класса. Всегда идет в первых рядах борцов, штурмующих крепость старого, загнившего мира. Никто не может сказать, что он когда-либо бледнел от страха, что он когда-либо дрогнул, испугался угрозы врага, полицейской дубинки, стрел продажных писак, пуль, которые не раз проносились мимо него, орудийных залпов во время Сентябрьского народного восстания, смертных приговоров, которые вынес ему классовый враг.

Незаметно у юного наборщика пробились усики. Впервые увидел их, когда Петко Величков из Пазарджика подал ему круглое зеркальце и сказал:

— Вытри щеку, посмотри, как вымазался краской!

Постепенно паренек вытянулся, входя в маленькую комнатку на нижнем этаже, стал нагибаться, чтобы не удариться головой о балки низкого потолка. Каждый вечер мать заправляла керосиновую лампу с зеркальцем, и каждое утро в лампе не оставалось ни капли керосина. «Опять просидел всю ночь над книгой», — думала мать и, видя, как он осунулся, начинала

отчитывать его:

— Пора за ум взяться, сынок! Что это за чтение по ночам? Почему не спишь, как все люди? Посмотри, на что ты похож: одна кожа да кости!

Но юный Димитров продолжал читать ночи напролет. Книги завораживали его, и он не мог от них оторваться. Уже в юные годы он понял, кто у кого сидит на шее, каковы законы общественного развития и какой путь должен избрать рабочий класс, чтобы сбросить со своих плеч бремя капитала. «Коммунистический манифест» оказал на него огромное влияние. Читая Чернышевского, он исполнился решимости стать таким же, как Рахметов — человеком с железным, непреклонным характером.

*

Узник не заметил, как пролетели весна и лето. Целых пять месяцев гитлеровцы скрывали от мира, что держат в тюрьме невинного человека. В мрачном застенке, закованный в кандалы, Димитров знакомился с немецкой историей, параграф за параграфом изучал законы, писал письма, делал вырезки из газет, восторгался поэзией Гете и Байрона, готовился к будущему поединку с фашизмом в зале Имперского суда в Лейпциге. Из газеты «Дойче альгемайне цайтунг» он узнал, что Ромен Роллан и адвокат Брантинг прижали к стене верховного фашистского прокурора, состряпавшего обвинение против него. И он сразу же написал письмо благородному гуманисту, знаменитому писателю Ромену Роллану. Прочитав это письмо, председатель IV уголовного сената имперского суда, доктор Бюнгер, которому было поручено руководить процессом, поморщился. Он нажал кнопку звонка. В кабинет вошел секретарь.

— Подсудимый Георгий Димитров пишет об оковах. Нужно немедленно снять их, потому что в противном случае коммунисты обрушатся на наше правосудие. Этот Фогт… Скажите Димитрову, чтобы он написал другое письмо Ромену Роллану и сообщил ему, что немецкие-тюремные власти обращаются с ним гуманно и что наручники уже сняты.

С горькой улыбкой Димитров написал второе письмо автору «Кола Брюньон»:

> «…отношение ко мне вообще-то гуманное, если не принимать во внимание строгую изоляцию, а также оковы, которые мучили меня и день и ночь в течение

пяти месяцев (с 4 апреля с. г.) и которые с сегодняшнего дня, по решению Имперского суда, сняты».

Когда тюремщик снял с его рук оковы, Димитров просто не поверил своим глазам. Руки свободны! Теперь он может свободно взять трубку, набить ее хорошенько табаком, чиркнуть с размаху спичкой, закурить. Он может писать и делать все что угодно. Ночью холодный металл не будет больше давить ему на грудь. Ах, как мало знают о закованных те, кто никогда не носил на руках кандалы!

Димитрова навестил гость с родины — болгарский адвокат Петр Григоров. Щелкнул первый замок, затем — второй, третий. С протяжным унылым скрипом отворилась дверь камеры. Димитров повернул голову, и гость остолбенел. Как изменился любимый руководитель болгарских рабочих, глашатай мировой пролетарской революции! Осунулся, лицо посерело, заросло бородой. Рваная арестантская одежда надета на голое тело — у узника нет нижнего белья. Башмаки — прохудившиеся, заскорузлые — надеты на босу ногу. Волосы поседели. На запястьях синие пятна — следы оков. Но глаза все те же — горят, полны неукротимой энергии.

Димитров узнал посетителя, и лицо его прояснилось. Он вскочил на ноги, бросился к земляку:

— У меня нет слов, чтобы выразить свою радость! Ты — первый близкий человек, которого я вижу в этой тюрьме!

За спиной Григорова стояла целая свора фашистов: Фогт, его секретарь, машинистка, капитан полиции и четверо гестаповских агентов.

— Я не разрешаю вам говорить по-болгарски! Ни слова! — процедил сквозь зубы судебный следователь.

Человек, приехавший из другого мира, где светит солнце, где не стихает шум борьбы двух миров, и моабитский узник заговорили по-немецки о самых обыденных вещах. Но глазами они постарались сказать друг другу все то, чего не могли вымолвить губы.

В коридоре раздался шум шагов. К Фогту подошел какой-то служащий и что-то шепнул ему на ухо. Фогт быстро удалился вместе с машинисткой. Тогда Димитров заговорил по-болгарски:

— Скажи, Петр, правильно ли я вел себя? Нарушил ли чем-нибудь дисциплину? Что думает партия о моем поведении?

— Партия знает тебя хорошо, — ответил Григоров. — Она ждет, что ты поднимешь еще выше ее знамя!

Гестаповцы зашевелились. Руки потянулись к пистолетам. Но Димитров, который тайком наблюдал за ними, тотчас продолжил

по-немецки:

— Мы так увлеклись, что, как только заговорили о здоровье мамы, сразу же перешли на болгарский язык. Значит, она держится…

Гестаповцы успокоились.

17 сентября вечером он записал в своем дневнике.

«Последний день в Моабите. Завтра в Лейпциг».

Когда он засыпал, в его ушах зазвучала ария Ленского накануне дуэли: «Что день грядущий мне готовит?..»

*

21 сентября 1933 года вся полиция Лейпцига была на ногах. По улицам разъезжали конные патрули. Огромные копыта баварских коней грузли в мягком асфальте. На каждом углу торчали полицейские с автоматами, Рано утром из ворот тюрьмы выехала автоколонна и помчалась к зданию Имперского суда. Впереди машина с отрядом вооруженных до зубов гестаповцев, за ней тюремный автомобиль с толстыми решетками на квадратных окошках, затем снова отряд полиции. Зал Имперского суда заполнен юристами, немецкими журналистами, корреспондентами иностранных газет, увешанными орденами нацистскими руководителями, гестаповцами, свидетелями.

В первом ряду сидит старая женщина, закутанная в черный платок. У нее гордое лицо и ясный взгляд: это мать Димитрова. Вводят обвиняемых; сын и мать взглядами приветствуют друг друга. Входят судьи и прокуроры. Девять фигур в красных мантиях поднимают руки, присутствующие в зале также протягивают им навстречу руки, вскинутые в гитлеровском приветствии. Подсудимые стоят между ними, и кажется, что руки смыкаются над них головами, угроза смерти, ненависть и опасность нависли над ними. Враг впереди, враг сзади, гитлеровская Германия хочет раздавить свои жертвы.

Но Димитров не дрогнул. Он — тот камень, о который вскоре споткнутся судьи и министры третьего рейха. Он — Давид, приготовивший уже свою пращу.

На глазах у всего мира начинается неравный поединок между фашистскими главарями — самоуверенными, наглыми, охраняемыми сворой вооруженных агентов, и сыном болгарского рабочего класса. Председатель уголовного сената занимает центральное место среди судей, но еще с первого дня Димитров подчинил суд своей воле. Из обвиняемого он превратился в

страшного обвинителя.

Допрашивают обвиняемого Маринуса ван дер Люббе. Это тот комок глины, из которого Геринг вылепил куклу с зажженной головней в руках. Ван дер Люббе — сын мелкого лавочника из Лейдена. Он — жертва коварных нацистов. Прежде чем погрязнуть в болоте, Маринус покидает Голландию и вместе с одним дружком предпринимает долгое путешествие. Он отпечатывает открытки, на которых изображены он сам и его дружок на фоне пятиконечной звезды, и отправляется в путь. Путешествуя пешком по дорогам Средней Европы, они продают открытки и обеспечивают себе средства на пропитание. Однажды в Германии на дороге их нагоняет роскошный автомобиль. В нем сидит незнакомый мужчина. Он гомосексуалист. Незнакомец приглашает молодых скитальцев сесть в машину. С этой минуты Маринус встает на тот грязный и позорный путь, который приводит его в зал Имперского суда, а затем и на плаху.

26 февраля ван дер Люббе находился в Геннингсдорфе. Это предместье Берлина, расположенное вблизи Шпандау — бастиона национал-социализма. В ночлежке для бездомных голландец имел продолжительную беседу с двумя таинственными незнакомцами. Что это за люди и зачем им понадобился Маринус? Димитров приподнимает завесу, скрывающую эту тайну:

— Там, в Геннингсдорфе, была установлена связь между ван дер Люббе и организаторами поджога рейхстага.

Голландец стоит перед судьями — жалкий, обессиленный, полуослепший. Он не в силах поднять головы. Сопровождающий его полицейский поминутно утирает ему нос платком. Ван дер Люббе смотрит и молчит, молчит и бессмысленно смотрит вниз. В тюрьме Маринус был «своим человеком». Пищу ему готовили отдельно. Его хлеб всегда был завернут в белую бумагу с надписью «Маринусу ван дер Люббе». Его гладили по головке, и в то же время ему подсыпали в пищу наркотики до тех пор, пока он не превратился морально и физически в жалкую развалину.

Димитров спрашивает ван дер Люббе, который в своих показаниях заявил, что он вместе с Димитровым поджег рейхстаг, слышал ли он хоть раз в жизни его имя. Но Бюнгер не допускает такого вопроса. Суд не согласен, чтобы Димитров спрашивал, с кем, в сущности, встречался голландец накануне пожара. Почему он не предал огню ветхое благотворительное учреждение, а поджег каменное здание парламента?

Ван дер Люббе молчит. У него нельзя вырвать ни слова. Он либо нормальный человек и молчит, потому что совершил чудовищное преступление против рабочего класса, либо —

безумец, который не может связно говорить.

И тут Димитров поднимается во весь рост, превращается в сурового обвинителя, гневно клеймящего всех тех, кто хочет уничтожить его. На весь зал гремит его голос:

— Коммунистический Интернационал хочет иметь полную ясность по вопросу о поджоге рейхстага. Миллионы ожидают ответа.

Бюнгер вскакивает с места, поднимает дрожащую руку.

— Кто здесь председатель? Замолчите немедленно! — орет он и машет руками, точно огородное пугало. Потом ищет свой стул, и на его лице появляется выражение страха. — Где мой стул? — хочется крикнуть председателю.

— Миллионы ожидают ясного ответа!

— Я не могу больше терпеть этого! Вы должны молчать, когда я вам приказываю…

Подсудимый смотрит на него мрачным взглядом. У Бюнгера пробегают мурашки по спине. Он вдруг понимает, что настоящим неумолимым председателем этого суда является невинный человек, посаженный на скамью подсудимых.

Молчавший в течение всего процесса, ван дер Люббе решился заговорить лишь после оглашения приговора, когда его вели на плаху. Охваченный животным страхом, он заорал:

— Дайте же мне сказать! Не я один! Не я один…

Но было уже поздно. Его голову положили на плаху, и палач взмахнул топором…

*

После первого допроса подсудимых перевели в Берлинский Имперский суд, где на глазах у мировой общественности разыгралось второе действие процесса: разбор вещественных доказательств.

На сцену вышли новые бездарные актеры. Каждый из них словно стремился сделать что-нибудь такое, что бы привело к провалу бездарную трагедию, автором которой был Геринг.

Каждое утро миллионы людей пяти континентов дрожащими от нетерпения руками раскрывали газеты и первым делом просматривали последние сообщения о процессе в Лейпциге, а затем и в Берлине. Каждый вечер они подолгу засиживались у радиоприемников, стараясь услышать могучий голос «вулканического человека», посаженного на скамью подсудимых.

4 ноября перед судом предстал премьер-министр Пруссии, рейхсминистр внутренних дел, председатель рейхстага Герман

Геринг — один из вожаков национал-социалистской партии, временами обладавший большей властью, чем сам фюрер, ставленник могущественных промышленных концернов и юнкерства. Руки Геринга уже были запятнаны кровью рабочих. Пуля и виселица показались ему слишком гуманным наказанием для противников фашизма, поэтому он восстановил средневековую казнь мечом и приказал своим головорезам опускать смертоносное лезвие на горло жертвы так, чтобы последний взгляд осужденного еще мог уловить его блеск. Разглагольствуя на собраниях, министр внутренних дел не очень-то задумывался над словами. «Если говорят, что там-то и там-то кого-то забрали и истязают, я могу на это только ответить: лес рубят — щепки летят… Пока коммунисты не бегают по улицам с отрезанными носами и ушами, нет никаких оснований для беспокойства… Лучше я раз-другой дам недолет или перелет, но я по крайней мере постреляю…». История знает и других подобных ему кровожадных убийц. У слабоумного турецкого султана Мурада IV был любимый уголок во дворце — павильон «Алайкешк», который выходил на маленькую улочку. Каждый день сын Мохаммеда, «царь царей, надежда и упование мусульман и великий заступник христиан», устраивался у открытого окна с луком в руках и пускал стрелы в спины своих верноподданных. Прохожие в панике бежали вверх по улочке.

— Стараюсь набить руку! — говорил падишах своим придворным, которые подавали ему стрелы.

Но история знает также случаи, когда взбунтовавшиеся янычары показывали стамбульцам из окон дворца отрезанные головы великих визирей и свергнутых с престола султанов.

У Геринга были обширные имения и замки. В мрачных лесах он любил охотиться на оленей, на серн и кабанов. Его грудь увешана бесчисленными орденами. Кто решится стать ему поперек дороги? Такой смельчак должен заведомо проститься с жизнью. Перед судьями предстал сам Мефистофель, — тот, кто заставил сына лейденского торговца отвечать за поджог парламента, а сам скрылся. За жирным, затянутым в форму штурмовика главарем выстроились телохранители-эсэсовцы. Он стоит перед облаченными в пурпурные тоги судьями и рассказывает об ужасных злодеяниях, которые собирались совершить коммунисты, о гестаповцах, которые не щадят себя, о «новом порядке», который третий рейх скоро установит во всех странах Европы. Геринг кричит, бьет себя в грудь, заявляет, что он спас Германию и весь мир ют «красной опасности».

— Прежде всего нужно было двинуть против врага аппарат государства. Я разъяснил моей полиции: если стреляют, это

стреляю я! Если кто-то лежит убитый, это я его застрелил! Но я требую, чтобы не стреляли впустую!

Один гитлеровский писака, впав в телячий восторг, лихорадочно записывает: «Это до такой степени язык настоящего мужа… что лица в зале светлеют… Этому Герингу в самом деле можно поверить, что он поднимет на рога шесть миллионов коммунистов и бросит их на землю». Сам того не желая, этот угодливый писака нарисовал подлинный портрет своего хозяина: бык, возбужденный, опьяненный теплой кровью. Звероподобный государственный деятель, которого вынесла на своем гребне самая мутная реакционная волна в новой истории немецкого народа.

Адольф Штейн — так звали газетчика — считал, что шести миллионов коммунистов мало для Геринга, «который обладал таким зарядом силы воли», но Георгий Димитров знал подлинную цену толстого Германа. На протяжении многих лет он следил за его высокомерными речами и наглыми действиями. И сейчас, глядя на него, расставившего ноги, наклонившего голову, подбоченившегося, он понял, что быстро разделается с ним. Но его нужно сначала раздразнить, показать ему красный плащ, как это делают испанские тореадоры. Нужно заставить его реветь, потерять самообладание, а затем уже нанести решительный удар.

— 28 февраля, — начал спокойным тоном подсудимый, — премьер-министр Геринг дал интервью о поджоге рейхстага, где говорилось: у «голландского коммуниста» ван дер Люббе был при аресте отобран помимо паспорта и членский билет Коммунистической партии». Откуда знал тогда премьер-министр Геринг, что у ван дер Люббе был с собой партбилет?

Геринг высокомерно посмотрел на противника, попытался ответить спокойно:

— Нужно сказать, что я до сих пор очень мало интересовался этим процессом, то есть читал не все отчеты… Поэтому я предполагаю, что вопрос, который вы задали, давно ясен для вас, а именно, что я вообще не занимался расследованием этого дела. Я не хожу туда и сюда и не проверяю карманы людей. Если вам это еще неизвестно, я говорю вам: полиция обыскивает всех опасных преступников и сообщает мне, что ею найдено.

«Сразу же попался на удочку», — подумал Димитров и, опершись руками о стол, наклонился вперед, уставился на Геринга, заговорил медленно, чеканя каждое слово:

— Трое чиновников уголовной полиции, арестовавшие и первые допросившие ван дер Люббе, единодушно заявили, что у Люббе не было найдено партбилета. Откуда же взялось это сообщение о партбилете, хотел бы я знать?

Прижатый к стене на глазах у собравшихся в зале нацистских вожаков и корреспондентов иностранных газет, не желая с первого же момента показаться смешным и жалким лгуном, премьер-министр был вынужден признаться, что у ван дер Люббе не было найдено партбилета.

Мрачный огонь вспыхнул в глазах Георгия Димитрова. Он решил нанести новый удар. Свидетель официальное лицо, министр иностранных дел, премьер-министр Пруссии. Пусть он заявит суду, несет ли министр ответственность за свою полицию? Конечно, несет. Геринг отвечает за полицейских, расстреливающих коммунистов. Он полностью ручается за них. Тогда пусть свидетель скажет, что он сделал для того, чтобы выяснить путь голландца из Берлина в Геллингсдорф, его пребывание в ночлежном доме, его знакомство там с двумя другими людьми? Это позволит суду установить, кто является настоящим поджигателем парламента: Фауст налицо, но за его спиной стоит Мефистофель, который подает ему головню, шепчет ему что-то на ухо и ведет его к рейхстагу. Затем Мефистофель проваливается сквозь землю. Почему в это дело впутывают коммунистов? Заявив, что поджигателями рейхстага являются коммунисты, не направил ли свидетель полицейское, а затем и судебное следствие в определенном направлении, которое не дает возможности установить настоящих поджигателей?

Геринг почувствовал, что ему нанесли тяжелый удар. Глаза его налились кровью. Почему спрашивают его? Это дело уголовной полиции, которая ведет расследование по всем направлениям, чтобы найти нити преступления.

Он высокомерно ответил:

— Я не чиновник уголовной полиции, а ответственный министр, и поэтому для меня было не столь важно установить личность отдельного мелкого преступника, а ту партию, то мировоззрение, которые за это отвечают. Уголовная полиция выяснит все следы — будьте спокойны. Мне надо было только установить: действительно ли это преступление не относится к политической сфере, или оно является политическим преступлением. С моей точки зрения, это было политическое преступление, я точно так же был убежден, что преступников надо искать в вашей партии!

Главарь гестаповцев трясет кулаками. Судьи в испуге пятятся назад. Геринг покраснел, как рак, его шея стала багровой…

— Ваша партия — это партия преступников, которую надо уничтожить!

Затаив дыхание, зал ждет, что ответит на такое тяжкое, грубое оскорбление подсудимый. Наверное, он бросится через

стол, через полицейских и схватит за горло свидетеля. От этого сына Балкан можно всего ожидать. Но Димитров не теряет самообладания, он сохраняет стоическое спокойствие. Покачав головой, он с достоинством отвечает:

— Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую «надо уничтожить», является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?

Когда вол роет землю ногами, комья летят ему на спину. Земля зашаталась под ногами, Геринга. Такого удара он не ждал. В замешательстве он оглянулся по сторонам. Бюнгер вскочил со своего места и бросился на помощь своему поверженному начальнику.

— Я запрещаю вам, — крикнул он подсудимому, — вести здесь коммунистическую пропаганду!

— Господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду, — ответил председателю Димитров. — Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это?..

Геринг вне себя от ярости, он истерически орет. Он забыл, что является кавалером стольких орденов, что у него столько титулов. С готовностью и злорадством иностранные корреспонденты записывают его дикарские угрозы.

— Я вам скажу, что известно германскому народу. Германскому народу известно, что здесь вы бессовестно себя ведете, что вы явились сюда, чтобы поджечь рейхстаг… Но я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки! Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить!

Бык рухнул наземь. Изо рта его пошла пена. Бюнгер нервно кусал губы. Это неслыханно. Как осмеливается этот болгарин привести в такое состояние господина председателя рейхстага? Знает ли ой, кто такой Герман Геринг? Нет, больше он не позволит ему говорить!

— Димитров, я вам уже сказал, что вы не должны вести здесь коммунистическую пропаганду… Я строжайшим образом запрещаю вам вести такую пропаганду! Вы должны задавать лишь вопросы, относящиеся к делу.

— Я очень доволен ответом господина премьер-министра, — ответил Димитров и насмешливо улыбнулся.

Как он осмеливается улыбаться перед судом, который собрался для того, чтобы отправить его на плаху! Он должен дрожать, упасть на колени, молить о пощаде!

— Мне совершенно безразлично, довольны вы или нет. Я лишаю вас слова!

— У меня есть еще вопрос, относящийся к делу!

— Вон, подлец! — внезапно заорал обезумевший от ярости так называемый премьер-министр Пруссии, «человек-хозяин».

Растерявшийся председатель суда совсем забыл, что по закону именно он является полновластным главой суда и что только ему дано право вызывать и выпроваживать из зала подсудимых. Угодливо выполняя приказ свидетеля, он крикнул полицейским:

— Выведите его!

Двое полицейских, которые словно сторожевые псы стояли за спиной Димитрова, схватили его и потащили к двери. Покидая зал, подсудимый повернулся к Герингу и иронично заметил:

— Вы, наверно, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?

Тушу подкидывает, словно подземным толчком, она прыгает, приплясывает, корчится от ярости, жирные бедра раскачиваются, руки размахивают, ноги подергиваются…

— Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда!

Геринг угрожает открыто и нагло. Геринг скрипит зубами. Ах, зачем он послушался этих скотов, которые остановили его в ночь пожара? Нужно было еще тогда сколотить виселицу или же поставить у лестницы колоду и отрубить голову этому коммунисту, заставить его навсегда умолкнуть. Но еще не поздно. Он позволит суду оправдать его, выпустить его на свободу, а затем «поможет» ему отправиться туда, откуда нет возврата.

Через два дня Димитров получил из тюремной прачечной вместе с пакетом белья короткую записку. В ней было всего одно слово: «Привет!» Чья рука постаралась согреть сердце подсудимого? «Мы с тобой!» прочел он вторую записку, которую обнаружил в коробке сигарет.

Председатель рейхстага сошел со сцены, как освистанный публикой бездарный актер. Лопнула пружина гитлеровского судебного механизма. В суд явился маленький, хромой министр пропаганды. Он поставил себе целью спасти положение, показать, что не все гитлеровцы такие дикие и грубые, как Герман Геринг. Но и его постигла та же участь. Димитров знает зубы немецкого фашизма. Треск каждого ружейного выстрела, свист каждой пули, выпущенной в рабочих, болезненно отдавался в его сердце. В

прошлом году, когда правили фон Папен и Шлейхер, штурмовики бесчинствовали по всей стране. Двое гитлеровцев убили на улице своего политического противника. Полиция схватила их, суд вынес им смертный приговор, но рейхсканцлер Гитлер отменил этот приговор и даже направил им приветственную телеграмму. Известен ли этот факт свидетелю? Да. Геббельс знает об этом случае, но вышеуказанные лица действовали во имя отечества, и поэтому «фюрер» приветствовал их. Что в этом удивительного? Большое дело — убили коммуниста. Конечно, будут убивать, не гладить же противника по головке. А знает ли министр пропаганды что-нибудь о политических убийствах, совершенных в Германии десять лет тому назад, когда погибли вожди коммунистической партии Карл Либкнехт и Роза Люксембург? Нет, доктор Геббельс не знает ничего об этом, потому что национал-социалисты были в то время еще младенцами. А кто убил Эрцбергера и Ратенау? Не являются ли сегодня национал-социалисты союзниками тех правых партий, из рядов которых вышли убийцы ряда государственных деятелей?

Геббельс поднял руку, чтобы отнести удар, направленный против его партии:

— Не хочет ли Димитров, задавая этот вопрос, чтобы мы начали с Адама и Евы?

Такой ответ на руку подсудимому. Министр виляет и не отвечает на его вопросы просто потому, что он не знает, как ответить. Опасный болгарин опять улыбается. Он играет со свидетелем прокурора так, как кошка играет с мышкой, прежде чем придавить ее лапой. Увидев, что подсудимый начинает прижимать к стене и этого свидетеля, угодливый председатель суда спешит прийти ему на помощь, готов запретить Димитрову задавать вопросы. Главный прокурор тоже считает, что пора закрыть рот подсудимому. Но Геббельс хочет щегольнуть перед представителями иностранной печати. Ведь, если он запретит Димитрову задавать вопросы, эти газетчики сразу же раструбят на весь мир, что министр пропаганды боится вопросов Димитрова, и поднимется страшный шум. Нет, так нельзя.

— Я отвечу на вопросы Димитрова, ибо не хочу, чтобы мировая пресса утверждала, что я их отклоняю. Я имел дело и с более серьезными противниками, не то что этот мелкий коммунистический агитатор.

И карлик поднял глаза, чтобы смерить уничтожающим взглядом богатыря.

И тут он невольно отпрянул назад. Димитров знает все. У него сокрушительные аргументы. Он начинает говорить о безобразиях национал-социалистов в Австрии и Чехословакии. И

Геббельс решает ретироваться, потому что «мелкий коммунистический агитатор» сделает его посмешищем на весь мир.

— Вы, по-видимому, хотите оскорбить национал-социалистское движение. Я отвечу вам словами Шопенгауэра: «Каждый человек заслуживает того, чтобы на него смотреть, но отнюдь не того, чтобы с ним разговаривать».

И он заковылял к выходу.

— И этому досталось. Не помог ему и Шопенгауэр! — шепнул один шведский журналист своему соседу. — Кто теперь на очереди?

*

Три месяца продолжался исторический процесс против Димитрова. Председатель IV уголовного сената допросил и подсудимых, и «свидетелей». Один за другим проходили герои «чертова круга» — агенты тайной полиции и офицеры запаса, воры и морфинисты, продажные газетчики и депутаты, уголовники и министры. Все они требовали головы Димитрова. Однако прокурору, притащившему в зал всю эту свору негодяев, не удалось привлечь в качестве своего «свидетеля» ни одного честного немецкого рабочего. Целых три месяца сражался Георгий Димитров, без устали наносил удары направо и налево. Лишь очень немногие отважились сказать доброе слово о подсудимом на фашистском суде. Суд не допустил иностранных адвокатов Моро-Джиаффери, Кампинки, Лео Галлахера, д-ра Лемана, Дечева и Григорова к участию в защите подсудимого. Поэтому великий болгарин выступил на суде и как обвиняемый, и как защитник. Последовательно и твердо разорвал он гнилую сеть обвинительного акта.

В клетке привезли Димитрова и Берлин, в клетке отвезли его обратно в Лейпциг, где состоялось последнее действие.

16 декабря Димитрову было предоставлено последнее слово. Это последнее слово останется памятным в истории. Тогда, как писала «Правда», товарищ Димитров со своего места в зале суда поднял знамя Коммунистического Интернационала над всей Германией, над всем миром.

Он поднял голос в защиту своей революционной чести, в защиту смысла и содержания своей жизни, своих коммунистических убеждений, Димитров опроверг обвинение, будто он является поджигателем парламента. В Болгарии никто не поверит, что Георгий Димитров может пробраться ночью в

немецкий рейхстаг и поджечь его. За границей тоже вряд ли кто поверит этому. Но в Германии есть люди, которых можно обмануть. Коммунистическая партия не может иметь ничего общего с таким преступлением. В суде очень часто заходила речь о пропаганде.

> «Выступления Геринга и Геббельса оказали косвенное пропагандистское действие в пользу коммунизма, но никто не может их сделать ответственными за то, что их выступления имели такое пропагандистское действие».

В зале наступило веселое оживление. Председатель нажал кнопку звонка. Вскочил на ноги.

Лицо Димитрова запылало гневом, когда он начал говорить о том, что фашистская печать оклеветала болгарский народ.

— Меня не только всячески поносила печать — это для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским»; меня называли: «темным балканским субъектом», «диким болгарином», и этого я не могу обойти молчанием.

Верно, что болгарский фашизм является диким и варварским. Но болгарский рабочий класс и крестьянство, болгарская народная интеллигенция отнюдь не дикари и не варвары… Народ, который 500 лет жил под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьяне, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — только фашисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?

Задолго до того времени, как германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространили древнеболгарскую письменность…

У меня нет основания стыдиться того, что я болгарин. Я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса!..

Полицейский чиновник Гелер цитировал здесь коммунистическое стихотворение из книги, изданной в 1925 году, чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты подожгли рейхстаг.

Я позволю себе также процитировать стихотворение величайшего поэта Германии Гете:

Впору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
чашам редко дан покой:
должен ты иль подыматься,
или долу опускаться;
властвуй — или покоряйся,
с торжеством — иль с горем знайся.
Тяжким молотом взвивайся —
или наковальней стой.

Да, кто не хочет быть наковальней, тот должен быть молотом! — гремит голос Димитрова.

Со страшной силой обрушился на наковальню последний удар революционного молота:

— Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать: «И все-таки она вертится!»

Колесо истории вертится, движется вперед…

И это колесо, подталкиваемое пролетариатом, под руководством Коммунистического Интернационала, не удастся остановить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до окончательной победы коммунизма!

— Боже мой! Мы слушаем его стоя, — прошептал председатель суда и, позеленев от ярости, дрожащими руками стал собирать свои бумаги. Какие страшные слова! Никогда в этом зале не произносились такие мятежные речи. Полицейские схватили Димитрова и силой усадили его на скамью подсудимых. Суд окончательно лишил его слова.

Так закончился процесс в Лейпциге.

*

23 декабря суд вынес оправдательный приговор, а на следующий день в тюрьме Имперского суда Георгий Димитров — счастливый и окрыленный — обнял свою мать, 72-летнюю Парашкеву Димитрову. Она навестила его и в берлинской тюрьме, но там им удалось взглянуть друг на друга только издали. В самые тяжелые дни мать, как тень, следовала за ним. Он не видел ее целых 10 лет. Она постарела, стала совсем миниатюрной, но держится прямо. Закуталась в старую черную шаль. И хорошо сделала. На улице идет снег. Глаза ее, милые материнские глаза, сверкают, как два драгоценных камня.

— Я, сынок, — сказала мать, — смотрела на тебя в суде. По-немецки не понимаю, но, увидев, как ты размахиваешь руками и кричишь на судей, я подумала: все кончено… и тебя потеряю. Но как я могла помешать тебе или остановить тебя, ведь я знала, что ты выполняешь свой долг. Мой Георгий знает, что нужно делать. Раз ругает судью, значит судья заслужил, чтобы его ругали.

Димитров протянул руку и погладил мать по голове. Глаза его увлажнились. Какой нежностью наполнилось его сердце, когда он увидел ее на пороге.

Эта мужественная мать потеряла трех младших сыновей. Константин, секретарь Союза печатников, погиб во время Балканской войны на турецком фронте, и мать даже не знала, где он похоронен. Никола в 1905 году выступил с оружием в руках против жандармов русского царя. Три года спустя его схватила царская полиция и, закованного в кандалы, сослала в Сибирь, где он и умер. Палачи Цанкова подвергли зверским пыткам Тодора, третьего сына бабушки Парашкевы. Они требовали, чтобы он сообщил им имена руководителей нелегальной коммунистической партии. Но никакими пытками не удалось заставить Тодора предать своих товарищей, он погиб, но так никого и не выдал. Прежде чем попасть в руки убийц, Тодор время от времени забегал к матери, вынимал из-под пальто письма, листовки, тайные документы и совал ей в руки:

— Спрячь в мой карман, мама! — говорил он и поспешно исчезал из дому.

На свой передник, с изнанки, она нашила два кармана: один для его нелегальных документов, другой для документов Лены — комсомолки.

Когда Тодор пропал, полицейские стали таскать в участок мать. Тодор был в их руках, но они хотели узнать, где скрывается Лена.

— Если не скажешь, где дочь, дом сожжем!

Бабушка Парашкева знала, на что способны палачи, но держалась мужественно.

— Вы все можете — и Болгарию можете продать! Скажите лучше, что вы сделали с моим сыном? Зачем вы погубили столько молодых людей?

Наконец она узнала, что Тодор убит, и ее сердце наполнилось глубокой скорбью о сыне, лютой ненавистью к врагу. Когда полицейские пришли за Леной, она пригрозила им кулаком и закричала на них:

— Где Лена? Лену не найдете, как не нашли Георгия! А если и найдете, то не услышите от нее ни слова, как не услышали от Тодора. Мои дети не предатели.

Бабушка Парашкева очень тяжело переживала утрату своих детей. В то время она еще не знала, что Лена вырвалась из рук убийц и перешла границу. Каждый день она ходила на кладбище в надежде обнаружить могилу Тодора. Там она встречалась с матерями, сестрами, женами и детьми коммунистов, убитых из-за угла на софийских улицах или же сожженных Черным Павле в топках Общественной безопасности. Бабушка Парашкева держалась стойко и, сдерживая слезы, успокаивала рыдающих женщин:

— Не плачьте, милые. Мы должны гордиться ими! Придет день, когда народ воздвигнет им памятники!

Переступив порог Лейпцигской тюрьмы, она обняла сына и сказала ему:

— Хоть я и родилась в селе, хоть мне уже за семьдесят, а все-таки я добилась своего. В Софии мы с матерью Танева пошли в немецкое консульство и попросили разрешить нам выехать в Германию. Когда мы выходили из консульства, полицейские схватили нас, старух, и потащили по улице. Наверно, хотели выслужиться перед немцами. А, может, боялись, что мы подожжем консульство своими прошениями. Посадили нас в тюрьму. Хорошо, что за нас заступилась вся София. «Оставьте в покое старух», — говорили люди. Только поэтому нас и освободили. А сейчас, как видишь, я здесь…

— Ах, мама, как я тебе благодарен за то, что ты приехала. Теперь мы всегда будем вместе. Никогда уже не расстанемся. Когда я выйду из тюрьмы…

Георгия Димитрова оправдали, но Геринг не разрешил выпустить его на свободу. На суде палач немецкого народа пообещал убить Димитрова, и теперь, опасаясь, как бы жертва не ускользнула из его рук, он приказал перевести его в тюрьму гестапо.

— Мы сидели в темном и сыром, напоминающем катакомбы, помещении с цементным полом. Это был подвал бывшей Прусской академии искусств, — рассказывал впоследствии герой Лейпцига одному французскому журналисту.

— А куда перевели Прусскую академию искусств? — спросил удивленный журналист.

— Академия, искусств приютилась в малюсеньком домике, а в ее здании устроили большую тюрьму.

22 декабря 1933 года, за день до объявления приговора, американский посол в Берлине Уильям Додд записал в своем дневнике:

«Некий журналист, информация которого, как я

всегда убеждался, является надежной, но имя которого я не осмеливаюсь назвать даже в этом дневнике, явился ко мне этим утром и сообщил, что один весьма высокопоставленный немецкий чиновник — как мне кажется, шеф тайной государственной полиции Рудольф Дильс — сообщил ему, что утром Имперский суд, вот уже с сентября ведущий процесс о поджоге рейхстага, признает невиновными всех коммунистов, кроме ван дер Люббе. Однако Георгий Димитров, болгарский коммунист, изгнанный из своей страны, по приказу прусского премьер-министра Геринга должен быть умерщвлен до того, как ему удастся покинуть Германию».

Палач Геринг даже пригласил Георгия Димитрова быть его гостем в заповедных девственных лесах. Там, в темной чаще, среди болот Дарса, они вдвоем Димитров и Геринг — будут охотиться на оленей и кабанов. И там Димитров может стать жертвой «шальной» пули… Но пока коварный министр внутренних дел точил свои топор, в защиту Димитрова поднялся весь мир.

— Нет! — загремели гневные голоса миллионов рабочих всех континентов земного шара.

— Нет! — вторили им их верные союзники крестьяне.

— Нет! — прозвучал призыв самых светлых умов человечества.

Потоки телеграмм, писем протеста, петиций наводнили Германию.

В защиту Димитрова выступил и Советский Союз, он вырвал его из когтей смерти. 15 февраля 1934 года Советское правительство приняло Димитрова в советское гражданство и потребовало его немедленного освобождения.

Открылась тяжелая стальная дверь гестаповской тюрьмы, закрытая машина увезла Димитрова на аэродром. За три минуты до отлета самолета к аэродрому подъехал роскошный лимузин вишневого цвета. Из него выскочил молодой человек и быстро направился к Димитрову, который уже стоял у самолета с дорожной сумкой в руках.

— По поручению посольства Союза Советских Социалистических Республик позвольте вручить вам паспорт! — сказал он на русском языке и подал пассажиру маленькую новую книжку в кожаном красном переплете.

Димитров взял в руки паспорт и почувствовал, как у него подступил к горлу ком. Посланец посольства продолжал:

— Посол просит вас воспользоваться самолетом, который он предоставит вам. Этот самолет доставит вас в Кенигсберг.

Немецкие полицейские переглянулись и закусили губы.

На взлетную полосу вырулила прекрасная стальная птица с красными пятиконечными звездами на крыльях. Димитров поднялся по трапу и, прежде чем войти в самолет, оглянулся назад, поднял правую руку и снял шляпу. Безмолвно простился он с братьями из Советского посольства, с Тельманом, с немецкими рабочими, которые стали ему столь близкими.

Вечером на Московском аэродроме тысячи людей радостно приветствовали героя Лейпцигского процесса. В ответ на приветствия Димитров скромно сказал:

— Товарищи, я выполнил свой долг!

А затем выразил сердечную благодарность международному пролетариату, трудящимся всех стран, всей честной интеллигенции, боровшимся за его освобождение, и в первую очередь рабочим и крестьянам великого Советского Союза.

notes

Примечания

1

Салеп — густой сладкий напиток, приготовляемый из ятрышника.

2

Ючбунар — рабочая окраина дореволюционной Софии.

3

Орландовцы — окраинный район Софии.

4

Чирпанец — уроженец города Чирпана.

5

Коневица — квартал на окраине Софии.